

В. М. Алпатов



ВОЛОШИНОВ, БАХТИН  
И ЛИНГВИСТИКА



STUDIA PHILOLOGICA

# Владимир Алпатов Волошинов, Бахтин и лингвистика

*Издание осуществлено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)*

*проект 04-04-16036*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=180689](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=180689)*

*Волошинов, Бахтин и лингвистика: Языки славянских культур; Москва; 2005*

*ISBN 5-9551-0074-1*

## **Аннотация**

Книга посвящена изучению лингвистических идей, содержащихся в трудах выдающихся отечественных ученых XX в. Михаила Михайловича Бахтина и Валентина Николаевича Волошинова, прежде всего получившей мировую известность книге «Марксизм и философия языка» (1929). Рассматривается место книги и примыкающих к ней статей в мировой науке о языке того времени, ее отношение к ведущим в те годы школам и направлениям мировой и отечественной лингвистики.

Подробно исследуются полемика авторов книги с концепциями Ф. де Соссюра и К. Фосслера и их собственная теоретическая концепция языка и высказывания. Особо рассмотрен вопрос о роли марксизма в языкознании. Изучены история написания книги и примыкающих к ней статей, их оценки современниками. Исследованы также более поздние работы М. М. Бахтина 30—60-х гг., изучены их сходства и различия с книгой «Марксизм и философия языка», рассмотрены предложенные Бахтиным концепции стратификации языка, речевых жанров, диалога. В последней главе определяется значение идей В. Н. Волошинова и М. М. Бахтина для современной науки, рассмотрены идеи некоторых ученых, в той или иной степени продолжающих заложенную ими традицию.

# Содержание

|   |    |
|---|----|
| ПРЕДИСЛОВИЕ   | 4  |
| ГЛАВА ПЕРВАЯ  | 6  |
| 1.1. МФЯ и развитие мировой лингвистики до начала XX в            | 7  |
| 1.1.1. История лингвистики в МФЯ и у других лингвистов            | 7  |
| 1.1.2. МФЯ о причинах формирования «абстрактного объективизма»    | 10 |
| 1.1.3. История «индивидуалистического субъективизма» в МФЯ        | 15 |
| 1.1.4. Философия, философия языка и лингвистика                   | 20 |
| 1.2. МФЯ и современная советская лингвистика                      | 24 |
| 1.2.1. Московская и Петербургская лингвистические школы           | 24 |
| 1.2.2. Авторы МФЯ, их учителя и коллеги                           | 26 |
| 1.2.3. Круг Бахтина и Л. П. Лкубинский                            | 30 |
| 1.2.4. Круг Бахтина и В. В. Виноградов                            | 33 |
| 1.2.5. Круг Бахтина и Н. Я. Мирр                                  | 37 |
| Экскурс 1   | 41 |
| ГЛАВА ВТОРАЯ  | 50 |
| II.1. Лингвистическая проблематика публикаций 1926–1927 гг        | 51 |
| II.1.1. Статья «Слово в жизни и слово в поэзии»                   | 51 |
| II.1.2. Вопросы языка в книге «Фрейдизм»                          | 56 |
| II.2. История написания МФЯ                                       | 58 |
| II.2.1. Внешние обстоятельства написания книги, два ее компонента | 58 |
| II.2.2. «Отчет» Волошинова и МФЯ                                  | 59 |
| Экскурс 2   | 66 |
| 1. Состояние вопроса и его неразрешимость                         | 66 |
| 2. Возможная гипотеза о разграничении авторства                   | 78 |
| Конец ознакомительного фрагмента.                                 | 80 |

# Владимир Михайлович Алпатов Волошинов, Бахтин и лингвистика

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Предмет данной книги – рассмотрение лингвистических идей, содержащихся в сочинениях М. М. Бахтина и так называемого круга Бахтина, прежде всего в цикле, изданном под именем друга Бахтина Валентина Николаевича Волошинова.

Бахтинистика уже превратилась в самостоятельную научную дисциплину, выходящую за рамки истории науки в обычном смысле и до некоторой степени приобретающую эзотерический характер. Литература, посвященная сочинениям, принадлежащим или приписываемым Бахтину, неисчерпаема. Михаил Михайлович Бахтин превратился в героя легенд и мифов, а его имя проникает (по крайней мере, на Западе) даже в массовую культуру. Вот примеры, приводимые британской исследовательницей: «Один из персонажей фильма „Дым“ (1995; режиссер Вейн Ванг) рассказывает историю о некоем великом русском философе и завзятом курильщике Михаиле Бахтине, который в качестве папиросной бумаги использовал страницы своей рукописи; а книга „Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса“ недавно упоминалась в газете „The Guardian“ в качестве показательного теоретического эквивалента фильмов „Caggy On“ (примитивно-грубые сериалы)». <sup>1</sup> Даже в далекой Бразилии «сложился едва ли не культ М. М. Бахтина». <sup>2</sup>

Я не собираюсь рассматривать труды Бахтина и его круга во всей их полноте. Будучи по профессии лингвистом, я хочу обратиться лишь к той их части, где речь специально идет о проблемах языка. В 20-х гг. это прежде всего так называемый волошиновский цикл, особенно центральная его работа – изданная впервые в 1929 г. книга «Марксизм и философия языка» (далее сокращенно – МФЯ). Я не могу претендовать и на полный охват проблематики даже этих работ, поскольку проблемы, там затрагиваемые, выходят за пределы лингвистики. Я, безусловно, сознаю, что картина при этом получается неполной и односторонней, тем более что Бахтин в первую очередь считал себя не лингвистом, а философом, а Волошинов, лингвист по образованию, также имел склонность к рассмотрению философских проблем. Однако в существующей литературе по МФЯ и в примыкающих к книге статьях наблюдается, особенно в нашей стране, обратный перекоп: их философская проблематика рассматривается гораздо в большей степени, чем лингвистическая. Если за рубежом уже имеется определенная традиция и лингвистического анализа этих работ, и использования их идей в лингвистике, у нас пока что и то и другое существует в очень ограниченных масштабах. При всей престижности имени Бахтина его наследие и наследие его круга не очень освоено нашими лингвистами; в причинах этого я также постараюсь разобраться. Надо учитывать и то, что Бахтин, уже без всякого участия Волошинова, продолжал обращаться к проблемам языка и в работах 30, 40, 50-х и начала 60-х гг., в большинстве опубликованных лишь в 70—90-е гг. Некоторые из них по проблематике – чисто лингвистические, другие посвящены литературе, но экскурсы в лингвистику и там занимают немалое место. Однако и эти сочинения гораздо лучше изучены философами и литературоведами, чем лингвистами. В книге я постараюсь рассмотреть в лингвистическом плане и эти сочинения Бахтина с учетом эволюции идей их автора.

---

<sup>1</sup> Адлам 2000: 169—170

<sup>2</sup> Васильев 2004: 247

Если связь идей Бахтина и круга Бахтина с развитием мировой философии, истоки их философских концепций и влияние на современные философские течения изучены уже достаточно хорошо, то включение МФЯ и других их работ в контекст мировой лингвистики до сих пор проведено лишь в малой степени. Я постарался в своей книге рассмотреть и эти проблемы.

Книга состоит из семи глав; «боковые» проблемы, выходящие за рамки ее основной проблематики, но как-то с ней связанные, выделены в экскурсы. Первая глава дает краткую характеристику развития мировой лингвистики к моменту появления МФЯ, в ней рассмотрены лингвистические истоки концепции МФЯ и примыкающих работ волошиновского цикла, анализируется отношение авторов этого цикла к своим предшественникам и современникам. К главе примыкает экскурс о М. М. Бахтине и В. В. Виноградове. Во второй главе речь идет о том, как авторы МФЯ подходили к своей главной книге по вопросам языка, рассмотрены их более ранние публикации, прежде всего статья «Слово в жизни и слово в поэзии», выявляется по сохранившимся свидетельствам история написания МФЯ (где многое до сих пор не может быть восстановлено). К главе примыкают два экскурса. Один экскурс посвящен проблеме, очень активно дебатированной уже более четверти века, – проблеме авторства МФЯ и других текстов волошиновского цикла. Я не считаю эту проблему первостепенной, поэтому все, что относится к ней, вынесено в экскурс и не затрагивается в остальной части книги. Скажу лишь, что до конца эта проблема не решается из-за отсутствия документальной основы, и мне кажется более разумным исходить из признания двойного авторства спорных текстов. Везде будет говориться об их авторах во множественном числе. Второй экскурс посвящен частной проблеме, затронутой в «Слове в жизни и слове в поэзии», – проблеме форм вежливости японского языка. Третья глава—центральная в книге, она специально посвящена идеям МФЯ, имеющим отношение к лингвистике. В четвертой главе отдельно рассматриваются проблемы марксизма в МФЯ в связи с предпринимавшимися у нас в 20-е гг. и в начале 30-х гг. попытками построения марксистской лингвистики; к главе примыкает экскурс о дальнейшей судьбе марксистской лингвистики. Пятая глава посвящена событиям, происходившим после появления МФЯ: анализируются последние по времени написания тексты волошиновского цикла, рассмотрены отзывы на МФЯ в литературе того времени, идеи МФЯ сопоставляются с идеями некоторых ученых 30—Ю-х гг. В шестой главе рассматриваются лингвистические проблемы поздних работ Бахтина, начиная от «Слова в романе», написанного в 30-е гг., и кончая фрагментом о металин-гвистике во втором варианте книги о Достоевском, относящемся к началу 60-х гг. Наконец, в седьмой главе делается попытка сопоставить идеи трудов, рассмотренных в книге, с лингвистикой последних десятилетий.

По проблематике данной книги ее автор с 1995 г. уже публиковал ряд статей. В конце книги приводится их список. Однако представляется, что следует попытаться обобщить их проблематику в рамках единой монографии. Ранее публиковавшиеся статьи при включении в текст книги подверглись переработке, иногда значительной.

Автор приносит искреннюю благодарность Н. А. Панькову, своей активностью и настойчивостью во многом стимулировавшему работу над книгой в разных ее вариантах.

## **ГЛАВА ПЕРВАЯ**

### **МФЯ И ЛИНГВИСТИКА XIX в. И НАЧАЛА XX в**

Вопрос о философских источниках МФЯ, о параллелях между МФЯ и современными книге философскими течениями достаточно разработан в бахтинистике, см. особенно.<sup>3</sup> Однако МФЯ – все-таки книга по теории языка. Поэтому нужно рассмотреть и отношение книги к различным течениям мировой и отечественной науки о языке, выяснить ее место в истории этой науки. А эта проблема до сих пор как следует не изучена. С ее рассмотрения мы и начнем свой рассказ.

---

<sup>3</sup> Махлин 1993; Махлин 1998

## 1.1. МФЯ и развитие мировой лингвистики до начала XX в

### 1.1.1. История лингвистики в МФЯ и у других лингвистов

Как известно, МФЯ – во многом историографическое сочинение. Значительную часть книги занимает анализ лингвистических и философских работ, посвященных теории языка или некоторым более конкретным вопросам языка. Это – во второй части книги целиком первая глава и во многом вторая и третья главы, а в третьей части вторая и третья главы. Как мне представляется, именно эти разделы, особенно во второй части, принадлежат к наиболее интересным в книге.

История лингвистики XIX в. и начала XX в. рассматривалась в то время многими. Представляется, что многое в концепции МФЯ может быть прояснено, если мы сопоставим ее трактовку в МФЯ и у других авторов.

Точки зрения на этот счет могли быть различными. Однако наиболее влиятельной с 20-х гг. была идея о том, что после посмертного издания в 1916 г. «Курса общей лингвистики» Фердинанда де Сос-сюра наука о языке вошла в новый этап своего развития, что «новая» лингвистика принципиально отличается от «старой», господствовавшей в XIX в. Такое понимание истории лингвистики остается (при разных оценках смены парадигм) преобладающим по сей день. У нас уже в 20-е гг. эту точку зрения четко высказывала Р. О. Шор, о взглядах которой речь еще будет идти. Образцом данного подхода могут служить две статьи, которые именно в качестве представительных текстов такого рода включены в известную хрестоматию по истории лингвистики В. А. Звегинцева.

Обе статьи относятся к несколько более позднему времени, чем МФЯ: статья датского лингвиста Виго Брэндаля появилась в 1939 г., а статья чешского лингвиста Вилема Матезиуса написана в начале 40-х гг. и издана в 1947 г. (посмертно). Авторы статей жили в разных странах и относились к разным направлениям внутри структурализма, но к истории науки о языке относились сходным образом.

В. Брэндаль противопоставляет новую, структурную лингвистику прежней, позитивистской, рассматриваемой как единое целое. Два направления, как показано у В. Брэндаля, различны по методологическим основам и несовместимы друг с другом. Под позитивистской лингвистикой в первую очередь понимается «сравнительная грамматика – детище XXIX века»,<sup>4</sup> в основном в ее позднем, младограмматическом виде, поскольку именно от младограмматизма отталкивались Ф. де Соссюр и другие основатели структурализма. Старая наука исторична, новая в основном занимается синхронией; старая интересовалась фактами, новая – структурами; старая устанавливает законы, новая строит модели; старая основывалась на индукции, новая – на дедукции; старая трактовала изменения в языке как эволюционные, новая учитывает скачки из одного состояния в другое.

Подход В. Матезиуса сходен, однако он «старую» науку рассматривает более дифференцированно. Там, по его мнению, существовали два направления и «две различные теоретические и методические точки зрения».<sup>5</sup> «Одним из таких взглядов был исторический и генетический», идущий от Ф. Боппа через А. Шлейхера к младограмматизму, составляющему «высший этап в развитии этого направления».<sup>6</sup> Второе, «аналитическое» направление

---

<sup>4</sup> Брэндаль 1960: 40

<sup>5</sup> Матезиус 1960: 87

<sup>6</sup> Матезиус 1960: 87

В. Матезиус связал с именами В. фон Гумбольдта и его последователей – Х. Штейнталя и Ф. Н. Финка. Главной особенностью подхода Гумбольдта, по мнению Матезиуса, было то, что «его целью было стремление углубить общие принципы лингвистического исследования. Именно поэтому он мало интересовался историческим развитием языка, а сравнивал различные языки с чисто аналитической точки зрения, не обращая внимания на их генетическое родство».<sup>7</sup> Эта черта его концепции оценивается положительно, но «идеи аналитического направления могли бы стать плодотворными в развитии языкознания, если бы их авторы смогли ясно и чисто лингвистическим способом сформулировать последние и на базе их создать точные исследовательские приемы. Этого не случилось».<sup>8</sup> Науке прошлого века противопоставляется современная структурная лингвистика; ее основателем, наряду с Ф. де Соссюром, признается (в меньшей степени) и И. А. Бодуэн де Куртенэ.

Отметим еще два общих свойства подходов датского и чешского лингвистов. Оба считают началом научной лингвистики начало XIX в., игнорируя все то, что было раньше. Оба исходят из того, что современная лингвистика—исключительно продукт XX в.

А теперь обратимся к концепции МФЯ. Она выделяет в истории мировой лингвистики два основных направления, именуемые «абстрактным объективизмом» и «индивидуалистическим субъективизмом». Все, что есть в науке о языке, – либо одно, либо другое, либо их сочетание. Это противопоставление проходит через всю вторую часть книги и сохраняется в третьей части. Такая концепция совсем не похожа на концепцию В. Брэндаля, но на первый взгляд ближе к концепции В. Матезиуса, «аналитическое» направление которого по своему составу близко к «индивидуалистическому субъективизму» МФЯ.

В обоих случаях направление лингвистики возводится к В. фон Гумбольдту, а среди его представителей назван Х. Штейнталь. Однако для Матезиуса «аналитическое» направление уже в прошлом, последний из упомянутых его представителей – Ф. Н. Финк, умерший в 1910 г. Но МФЯ доводит «индивидуалистический субъективизм» до современности. К нему отнесены К. Фосслер, его ученик Л. Шпитцер, а также Б. Кроче<sup>9</sup> (далее в ссылках на это издание будут приводиться лишь номера страниц). А все эти ученые в 1929 г. были живы и активно работали (кстати, живы они были и в годы, когда писали свои статьи В. Брэндаль и В. Матезиус, но те проигнорировали их существование). Более того, согласно МФЯ «школа Фосслера... бесспорно является одним из могущественнейших направлений современной философско-лингвистической мысли» (262). Конечно, к концу 30-х—началу 40-х гг. эта школа, еще существовавшая, уже стала не столь влиятельна, поэтому было больше оснований ее не замечать.

Но главное—даже не это, а критерии выделения существенных признаков направления. Вот как в МФЯ определяются основные черты «индивидуалистического субъективизма»:

- 1) язык есть деятельность, непрерывный творческий процесс созидания

(ἐνέργεια)

, осуществляемый индивидуальными речевыми актами;

- 2) законы языкового творчества суть индивидуально-психологические законы;
- 3) творчество языка – осмысленное творчество, аналогичное художественному;
- 4) язык как готовый продукт

(ἔργον)

<sup>7</sup> Матезиус 1960: 88—89

<sup>8</sup> Матезиус 1960: 89

<sup>9</sup> Волошинов 1995: 262—265

, как устойчивая система языка (словарь, грамматика, фонетика) является как бы омертвившим отложением, застывшей лавой языкового творчества, абстрактно конструируемый лингвистикой в целях практического научения языку как готовому орудию (260–261).

Как будет показано ниже, не все из этих черт восходят к В. фон Гумбольдту. В основных чертах здесь воспроизводится концепция К. Фосслера. Но к Гумбольдту восходит важнейшее противопоставление *energeia* – *ergon*, понимание языка как деятельности. Это совсем не то, что интересно у великого немецкого ученого для В. Матезиуса. Последний писал: «Мысль о том, что анализировать язык означает анализировать деятельность (*energeia*), а не результат деятельности (*ergon*), хотя и помогла ему понять значение функции в языке, но вместе с тем принуждала его слишком высоко оценивать психологическую точку зрения».<sup>10</sup> Эта мысль у Матезиуса, как и у других структуралистов, не получила развития. Как сказано выше, интересен для него Гумбольдт прежде всего как основатель сопоставительного изучения языков вне зависимости от их родства, то есть как основатель типологии. Именно поэтому, надо думать, он упоминает Штейнталя и Финка и игнорирует Фосслера и Кроче: первые занимались типологией, а последние—нет.

Другое же направление, выделенное в МФЯ, «абстрактный объективизм», не укладывается в схемы В. Брэндаля и В. Матезиуса. С одной стороны, к нему отнесена вся «новая» лингвистика, начиная от Ф. де Соссюра, а также и И. А. Бодуэн де Куртенэ. Но с другой стороны, «корни направления нужно искать в рационализме XXVII и XVIII вв. Эти корни уходят в картезианскую почву» (271). Данные идеи «свое первое и очень отчетливое выражение... получили у Лейбница в его концепции универсальной грамматики» (271). Формулировка об этих идеях как «рожденных на французской почве» (272) заставляет вспомнить не только о «картезианской почве», но и о том, что Н. Хомский позже назовет «картезианской лингвистикой», то есть о «Грамматике Пор-Рояля» и других французских грамматиках XVII– XVIII вв., хотя в книге они ни разу не названы. Впрочем, надо учитывать, что в первой половине XIX в. эти грамматики имели незаслуженно плохую репутацию, и на них не всегда обращали внимание.

Так сказано в первой главе второй части. А дальше, во второй главе той же части, если не история, то хотя бы предыстория «абстрактного объективизма» раздвигается еще дальше. В основе этого подхода согласно МФЯ лежит «филологизм», «практическая и теоретическая установка на изучение мертвых чужих языков, сохранившихся в письменных памятниках... Филологизм является неизбежной чертой всей европейской лингвистики... Как бы далеко в глубь времен мы ни уходили, прослеживая историю лингвистических категорий и методов, мы всюду встречаем филологов. Филологами были не только александрийцы, филологами были и римляне и греки (Аристотель – типичный филолог); филологами были индусы» (286).

В отношении исконности филологизма лингвистики авторы МФЯ не были правы, о чем будет сказано ниже. Но сейчас важно отметить, что согласно МФЯ именно «абстрактный объективизм» исторически первичен. Его корни очень глубоки, а эксплицитно выразиться он начал не то в XVII в., не то у Г. Лейбница в начале XVIII в., то есть за век или полтора до эпохи романтизма, породившей «индивидуалистический субъективизм». То есть лингвистика Соссюра по сути не нова. Здесь коренной пункт расхождений МФЯ с точкой зрения, выраженной у В. Брэндаля, В. Матезиуса и многих других.

Наконец, ведущая лингвистическая парадигма XIX в. – сравнительно-историческая, законченно выраженная у младограмматиков, – также трактуется в МФЯ иным образом, чем у структуралистов. Для В. Брэндаля это единственная, а для В. Матезиуса—главная альтернатива современной лингвистике. Но для МФЯ это вообще не есть особое направление в науке, поскольку младограмматизм имеет «по отношению к двум разобранным

<sup>10</sup> Матезиус 1960: 89

направлениям смешанный или компромиссный характер» (277). Младограмматики были связаны с «индивидуалистическим субъективизмом», «стремясь к его нижнему— физиологическому пределу. Индивид, творящий язык, для них в основном – физиологическая особь» (277). Однако они имели сходство и с «абстрактным объективизмом», поскольку «пытались построить незыблемые естественнонаучные законы языка, совершенно изъятые из какого бы то ни было индивидуального произвола говорящих» (277). Любопытно, что В. Брэндалль стремление младограмматиков установить законы языка (кстати, это стремление заметно уменьшалось с развитием младограмматизма) считал чертой, противопоставленной структурному подходу, но для МФЯ это – наоборот, свойство, сближающее соссюрианство с младограмматизмом.

Отметим, что черты, сближающие согласно МФЯ младограмматиков с «индивидуалистическим субъективизмом» («психофизиологическая почва»), скорее являются общими чертами даже не лингвистической, а общенаучной парадигмы второй половины ХХ в. Индивидуальный психологизм был свойствен и Х. Штейнталю, и младограмматикам, и спорившим с ними с разных позиций К. Фосслеру и И.А. Бодуэну де Куртенэ. А в начале ХХ в. отход от него (еще не в крайнем виде) наметился не только у Ф. де Соссюра, но и у далеко не совпадавшего с ним по идеям А. Мейе (который, впрочем, в МФЯ также отнесен к «абстрактному объективизму»). Если это учитывать, младограмматики окажутся ближе к «абстрактному объективизму».

Важно, что классификация лингвистических направлений в МФЯ не выделяет в качестве существенных признаков ни параметр «исторический—синхронный подход к языку», ни параметр «анализ изолированных фактов – анализ структуры языка». Последний из них, впрочем, отражен несколько иным образом: упомянут «академический позитивизм», стремящийся «не принята, ни одной принципиальной точки зрения и провозгласить „факт“ как последнюю основу и критерий всякого познания» (277); отмечу также во введении к книге слова о «преклонении перед „фактом“» (218) в позитивизме. Это как бы «нулевой» подход, снимающий противопоставление двух подходов; для авторов МФЯ он столь же неприемлем, как и эклектизм, механически сочетающий черты двух подходов. А в младограмматизме такой, крайне позитивистский подход был очень распространен и со временем усиливался.

Итак, по сути подход МФЯ к истории лингвистики принципиально иной, чем у его современников (ниже я еще буду говорить о полемике авторов книги с Р. О. Шор). В некоторых пунктах он скорее напоминает (хотя, разумеется, далеко не во всем) подход к истории лингвистики у Н. Хомского, который будет предложен спустя сорок лет. Но об этом речь пойдет в последней главе.

### 1.1.2. МФЯ о причинах формирования «абстрактного объективизма»

Вернемся к характеристике «абстрактного объективизма» в МФЯ. Как и черты «индивидуалистического объективизма», его черты формулируются в виде четырех пунктов:

1) Язык есть устойчивая неизменная система нормативно тождественных языковых форм, преднаходимая индивидуальным сознанием и непрекаемая для него.

2) Законы языка суть специфические лингвистические законы связи между языковыми знаками внутри данной замкнутой языковой системы. Эти законы объективны по отношению ко всякому субъективному сознанию.

3) Специфические языковые связи не имеют ничего общего с идеологическими ценностями (художественными, познавательными и иными). Никакие идеологические мотивы не обосновывают явления языка. Между словом и его значением нет ни естественной и понятной сознанию, ни художественной связи.

4) Индивидуальные акты говорения являются, с точки зрения языка, лишь случайными преломлениями и вариациями или просто искажениями нормативно тождественных форм; но именно эти акты индивидуального говорения объясняют историческую изменчивость языковых форм, которая как таковая с точки зрения системы языка иррациональна и бессмысленна. Между системой языка и ее историей нет ни связи, ни общности мотивов. Они чужды друг другу (270–271).

Очевидно, что эти четыре «основоположения», как подчеркивают сами авторы, «являются антитезами соответствующих четырех основоположений» (271) «индивидуалистического субъективизма». Безусловно, такое суммарное перечисление усредняет и схематизирует взгляды всего направления. Отмечу и заметное противоречие между первым и четвертым пунктами: в первом пункте говорится о языке как «неизменной системе», а в четвертом оказывается, что языковые формы имеют «историческую изменчивость», а помимо «системы языка» существует и «история языка». Однако здесь, безусловно, отражается существенное противоречие, имеющееся и у самих «абстрактных объективистов», особенно у Ф. де Соссюра. «Неизменность системы» – некоторый идеал или по крайней мере удобное допущение для «абстрактного объективизма» (авторы «Грамматики Пор-Рояля» и Г. Лейбниц подходили к языку строго синхронно, исторический подход к языку начал формироваться лишь в XVIII в. и окончательно оформился в начале XIX в.). Однако изменение языка – несомненный факт, и его учет требовал усложнения теории «абстрактного объективизма» с включением в нее «антиномий» и пр. Не разграничены при перечислении «основоположений» и две, строго говоря, разные вещи: отрицание некоторого явления и отказ от его рассмотрения. Например, редко кто-то из структуралистов буквально говорил, что внеязыковые (идеологические, по терминологии МФЯ) мотивы «не обосновывают явления языка». Они имели в виду другое: для лингвистики это обоснование неважно, им занимаются психологи, антропологи, литературоведы и др. См., например, идеи Л. Блумфилда о языковых реакциях на внеязыковые стимулы<sup>11</sup> или идеи такого крайнего структуралиста, как З. Харрис.<sup>12</sup>

Перечисление признаков «абстрактного объективизма» в МФЯ явно ориентировано на концепцию Ф. де Соссюра. Сейчас уже ясно, например, что положение о том, что «между системой языка и его историей нет ни связи, ни общности мотивов», – прежде всего особенность его концепции. Продолжатели идей Соссюра чаще всего либо вообще не обращались к истории языка, либо признавали тесные связи диахронии с синхронией, как, например, Р. Якобсон.

Конечно, надо учитывать, что в 1928 г., когда писалась книга, перспективы развития структуралистского варианта «абстрактного объективизма» еще не были до конца ясны. Во всяком случае, на этот счет еще были возможны споры вроде тех, в которые авторы МФЯ вступили с Р. О. Шор, считавшей эти перспективы значительными. Развитие структурализма находилось еще на ранней стадии. Пражский кружок образовался почти одновременно с написанием и публикацией МФЯ, а ставшие его манифестом «Тезисы Пражского кружка» выйдут несколькими месяцами позже. Леонард Блумфилд уже работал, но еще мало был известен за пределами США, а его главная книга «Язык» появится лишь в 1933 г. Глоссематика также станет известна лишь на несколько лет позже выхода МФЯ. Авторы МФЯ еще имели основания считать, что «идеи абстрактного объективизма и до настоящего времени господствуют преимущественно во Франции» (272). Любопытно, что тут же образцом источника этих идей признается «Женевская школа». Вряд ли авторы МФЯ не знали, что Женева находится в Швейцарии, а не во Франции; просто «Франция» здесь – условное наименование для территории распространения французского языка (точно

<sup>11</sup> Блумфилд 1960: 127–131

<sup>12</sup> Harris 1948: 1–3

так же под «немецкой наукой» в книге понимается без какого-либо разграничения германская и австрийская). Среди франкоязычных ученых упоминаются лингвисты Ф. де Соссюр, Ш. Балли, А. Сеше, А. Мейе и повлиявший на них социолог Э. Дюркгейм. Еще названо несколько имен отечественных ученых, о чем будет сказано ниже. И всё.

Но если о развитии лингвистики после Ф. де Соссюра авторы МФЯ еще не могли адекватно судить, то идеи предшественников знаменитого швейцарца как бы поглощаются его идеями. Картезианцы и Лейбниц лишь кратко упомянуты, а об «абстрактно-объективистской» науке второй половины XVIII в. и всего XIX в. вовсе не сказано, исключая лишь небольшой пункт о понятии закона у младо-грамматиков.

Подробнее, но без упоминания конкретных фактов и имен сказано об истоках «абстрактного объективизма». Его происхождение связывается с решением двух практических задач. Первая из них упоминалась выше: филологизм, толкование древних памятников. Согласно МФЯ «лингвистика появляется там и тогда, где и когда появились филологические потребности. Филологическая потребность родила лингвистику, качала ее колыбель и оставила свою филологическую свирель в ее пеленах. Пробуждать мертвых должна эта свирель. Но для овладения живой речью в ее непрерывном становлении у нее не хватает звуков» (286).

Такая цель влияла на выработку методов: «Руководимая филологической потребностью, лингвистика всегда исходила из законченного монологического высказывания—древнего памятника, как из последней реальности. В работе над таким мертвым монологическим высказыванием или, вернее, рядом таких высказываний, объединенных для нее только общностью языка, — лингвистика вырабатывала свои методы и категории... Филолог-лингвист вырывает его (памятник. — В.А.) из... реальной сферы, воспринимает так, как если бы он был самодовлеющим, изолированным целым, и противопоставляет ему не активное идеологическое понимание, а совершенно пассивное понимание, в котором не дремлет ответ, как во всяком истинном понимании. Этот изолированный памятник как документ языка филолог соотносит с другими памятниками в общей плоскости данного языка. В процессе такого сопоставления и взаимоосвещения в плоскости языка изолированных монологических высказываний и слагались методы и категории лингвистического мышления» (287–288).

Современный уровень изучения лингвистических традиций требует корректировки положения МФЯ об исконном филологизме в изучении языка. Филологический подход к языку требует двух условий: достаточно большого числа текстов, требующих изучения, и сознания определенных различий между языком этих текстов и обиходным языком: толковать необходимо лишь то, что непонятно или не вполне понятно. Поэтому ни у одного народа филология не могла возникнуть очень рано, тогда как лингвистическая традиция могла сложиться раньше. Из наиболее значительных традиций, пожалуй, лишь японская традиция сформировалась на филологической основе, но она появилась очень поздно: в XVII–XVIII вв., когда письменность непрерывно существовала уже около тысячи лет. В Александрии, где формировалась античная традиция, правда, занимались толкованием Гомера и других древних уже для того времени авторов, однако объектом собственно грамматик (Дионисия Фракийского и др.) был не язык Гомера, а койне, в ту пору живой язык. Именно на материале живого языка, не требовавшего толкования, были разработаны классификация звуков на гласные и согласные, система частей речи, описание грамматических категорий и др. Что же касается «индусов-филологов», то, очевидно, что авторы МФЯ имели очень ограниченное представление о древней индийской лингвистике, в частности о знаменитой грамматике Панини. Уже то, что эта грамматика была создана устно, а затем передавалась в такой форме из поколения в поколение, не свидетельствует о ее филологическом происхождении. И ее назначение было совершенно иным: она состояла из правил, по которым из первичных элементов (корней) строились правильные ритуальные тексты. Это не фило-

логическая, а риторическая задача! О причинах формирования лингвистических традиций подробнее см.<sup>13</sup>

Конечно, из того факта, что традиции не создавались специально для филологических целей, не следует, что такие цели позже не появлялись. Действительно, и в Индии позже сама грамматика Панини была объектом изучения филологов, а место филологии в европейской культуре средних веков и Нового времени было значительным. Однако все-таки роль филологии для ранних этапов изучения языка в МФЯ преувеличена.

Далее в МФЯ делается важное уточнение: «Мертвый язык, изучаемый лингвистом, конечно – чужой для него язык» (288). И далее речь идет о второй практической задаче, повлиявшей на становление «абстрактного объективизма»: задаче обучения языку.

Авторы указывают: «Рожденное в процессе исследовательско-го овладения мертвым чужим языком, лингвистическое мышление служило еще и иной, уже не исследовательской, а преподавательской цели: не разгадывать язык, а научать разгаданному языку. Эта вторая основная задача лингвистики—создать аппарат, необходимый для научения разгаданному языку, так сказать, кодифицировать его в направлении к целям школьной передачи – наложила свой существенный отпечаток на лингвистическое мышление. Фонетика, грамматика, словарь – эти три раздела системы языка, три организующих центра лингвистических категорий—ложились в русле указанных двух задач лингвистики – эвристической и педагогической» (288–289).

С точки зрения исторической первичности две задачи стоило бы поменять местами. Большинство традиций сложились именно на основе решения задачи обучения тому или иному языку культуры: греческому койне, арабскому языку Корана, санскриту; в Китае эта задача была связана с обучением иероглифике. Филологические задачи во всех этих культурах появились позднее. Нельзя также ставить знак равенства между понятиями «мертвый язык» и «чужой язык»: всякий мертвый язык—чужой, но обратное неверно. Традиции редко вырабатывались на основе изучения действительно мертвых языков; даже санскрит, на котором во времена Панини в быту не говорили, был вполне живым языком ритуала. Однако требует внимания идея о выработке традиций на материале чужих языков: «Поразительная черта: от глубочайшей древности и до сегодняшнего дня философия слова и лингвистическое мышление зиждутся на специфическом ощущении чужого, иноязычного слова и на тех задачах, которые ставит именно чужое слово сознанию – разгадать и научить разгаданному» (289).

Введенный здесь термин «чужое слово» как бы перекидывает мостик к изучению проблемы «чужого слова» в последней части МФЯ и в поздних сочинениях М.М. Бахтина. Но сейчас вернемся к истории лингвистики. Здесь надо уточнить само понятие «чужого, иноязычного слова».

История разных традиций, в том числе и европейской, показывает, что языки, обучение которым лежит в основе формирования этих традиций, отнюдь не рассматриваются их носителями как «чужие». Например, для древних греков, безусловно, «чужие» языки «варваров» не могли стать объектом изучения. Единственным таким объектом считался «свой язык», койне, основанный на аттическом диалекте. Однако он был подлинно «своим» не для всех. Показательно, что греческая наука в течение всего классического периода (V–IV вв. до н. э.) не разработала сколько-нибудь развитого аппарата для описания языка; о языке рассуждали в рамках философии. Лишь у Аристотеля можно видеть самое начало разработки этого аппарата, заключавшееся, например, в первой, еще мало детализированной классификации частей речи. И только в Александрии в эпоху эллинизма такой аппарат сложился. То есть лингвистики (грамматики в античной терминологии) не было, пока по-гречески говорили

<sup>13</sup> Алпатов 1990; 1998б: 17–20

в основном греки и не нужно было специально обучать языку. Но в Египте времен Птолемея греческий язык (койне), язык администрации и культуры, для большинства населения был «чужим», ему надо было учиться, ему надо было учить, следовательно, его надо было изучать.

Аналогичная ситуация была и в мусульманском мире, где после формирования Арабского халифата очень быстро, в течение одного VIII в. н. э. сложилась развитая лингвистическая традиция. И центрами ее стали не исконно арабские земли, а Месопотамия (Басра и Куфа), лежащая на границе арабского и персидского мира. Там особенно остро стояла проблема обучения языку Корана (тогда мало отличавшемуся от разговорного) людей, для которых арабский язык не был родным. Великий грамматист Сибавейхи, живший во второй половине VIII в., считается персом по происхождению. Тем более «чужими» были санскрит, язык ритуала, и иероглифический китайский язык, хотя мертвыми они не были; подробнее обо всем этом см. специальную статью.<sup>14</sup>

Переоценивая роль мертвых языков, МФЯ имплицитно отражает другую, на мой взгляд, более важную черту европейской лингвистической традиции и выросшей из нее лингвистической науки: ориентацию на текст как на исходную данность. Двусмысленность термина «текст» – любой результат речевой деятельности и его частный случай – письменный текст – конечно, не случайна. Ориентация на анализ уже существующих текстов особенно наглядна при работе филолога, однако филологизм ко времени появления МФЯ уже не был обязательным свойством работы лингвиста. В то же время более широкое понимание текста (не только письменный, но и устный; не только стандартизованный, но и диалектный) не меняло общей картины. И в древней Александрии, и в Европе 1928 г. изучение языка было анализом текстов, моделированием деятельности слушающего, воспринимающего, а не создающего тексты. Синтетический подход, порождающий тексты, существовал лишь у Панини и других древних индийцев. Ситуация станет меняться лишь на грани 50-х и 60-х гг. XX в., но об этом в последней главе.

Ориентация исследования на анализ готовых, существующих независимо от исследователя текстов способствовала пониманию объекта исследования в виде *ergon*. Об этой проблеме в МФЯ говорится лишь косвенно, но формулировки книги связаны с этим: «Лингвистика изучает живой язык так, как если бы он был мертвым, и родной—так, как если бы он был чужим» (292); «абстрактный объективизм» основан на «представлении об языке как о готовой вещи» (293); ему свойственно «неумение понять становление языка изнутри» (293). Слово «объективизм» в названии всего направления тоже связано с этим.

Весь «абстрактный объективизм» в книге связывается с представлением о языке как о чем-то внешнем по отношению к исследователю, о строгом разграничении позиций носителя и исследователя языка. В связи с этим не случайно, что такой подход, прежде всего, связывается с современной авторам наукой о языке.

Позиция традиционной науки о языке по этому вопросу все же, думается, была двойственной. С одной стороны, исходным материалом были готовые и отделенные от исследователя тексты; исследователь мог быть их автором, но их построение и анализ были отделенными друг от друга операциями. С другой стороны, этот анализ предполагал использование (чаще неосознанное) интуиции носителя языка. Происходило как бы вживание исследователя в изучаемый текст, а позиция исследователя опиралась на позицию носителя языка. Интересные соображения на этот счет содержатся у японского лингвиста Токиэда Мотоки,<sup>15</sup> чья концепция будет специально разобрана в пятой главе данной книги. Хотя для формирования лингвистической традиции важна была потребность учиться «чужим» языкам, но

<sup>14</sup> Алпатов 1990

<sup>15</sup> Токиэда 1983

изучаться они могли, лишь предварительно став «своими». Членение текста на звуки, на слова, классификация слов, выделение парадигм и т. д. в лингвистических традициях не были результатом «разгадывания языка», то есть дешифровки, как это утверждается в МФЯ. Все это составляло разные стороны стихийной модели психолингвистического механизма носителя языка. Поэтому позиция авторов МФЯ, согласно которой «абстрактный объективизм» исторически первичен, верна лишь отчасти: он был первичен настолько, насколько исследователи языка исходили из чисто аналитического подхода к языку; к анализу, однако, добавлялся учет интуиции.

История лингвистики характеризуется борьбой и сосуществованием двух подходов к языку: антропоцентричного и системноцентричного.<sup>16</sup> Антропоцентричный подход основан полностью или частично на интуиции носителя языка; исследователь языка в качестве метода его анализа использует (осознанно либо бессознательно) интроспекцию. Как я старался объяснить, выше, традиционный подход был именно таким, на что указывает и Е. В. Рахилина. Однако к концу XXIX в. и особенно с начала XXX в. в науке о языке стал распространяться системноцентричный подход, при котором язык рассматривается как полностью внешнее явление по отношению к исследователю, интуиция и интроспекция изгоняются из лингвистики, а образцом для науки о языке признаются естественные науки. Именно это было свойственно «новой» лингвистике первой половины XXX в. Те «абстрактные объективисты», о которых говорится в МФЯ, еще не были самыми крайними представителями системноцентризма, до полного завершения его доведут дескриптивисты, однако общая тенденция была схвачена в МФЯ верно.

Переход от антропоцентризма к системноцентризму был свойствен в то время не только лингвистике. Естественные науки, достигшие к тому времени больших успехов, служили образцом научной строгости, а попытки господствовавших во второй половине XIX в. и в самом начале XXX в. психологических направлений в лингвистике эксплицитно лингвистическую интуицию оказались не очень успешными. К такой экспликации стремился, в частности, И.А. Бодуэн де Куртенэ, но и он уже требовал преодолеть «предрассудок антропоцентризма».<sup>17</sup> У Ф. де Соссюра отход от психологизма уже был значительным, хотя не был еще проведен до конца.

Согласно МФЯ «абстрактный объективизм» довел до логического завершения подход к языку как к «чужому» и «мертвому» объекту. Уже из самой терминологии можно видеть, что это направление оценивается в книге негативно, однако специально его критика будет мной рассмотрена ниже, в третьей главе.

### 1.1.3. История «индивидуалистического субъективизма» в МФЯ

Вернемся теперь к характеристикам «индивидуалистического субъективизма». Как уже говорилось, он возводится к Вильгельму фон Гумбольдту. Оценки этого мыслителя в МФЯ очень высоки: «могучая гумбольдтовская мысль» (261), «философский синтез и глубина Гумбольдта» (262); у «абстрактного объективизма» «не было представителя и основоположника, по масштабу равного В. Гумбольдту» (271). Сказано, что «вся послегумбольдтовская лингвистика до наших дней находится под его (Гумбольдта. – В. А.) определяющим влиянием» (261). Приведена и библиография работ Гумбольдта и о Гумбольдте.

И там не менее прямого влияния идей этого великого ученого в книге, как это ни покажется странным, не наблюдается. Во всем тексте нет ни одной ссылки на него (в статье

<sup>16</sup> Рахилина 1989

<sup>17</sup> Бо-дуэн 1963, 2: 17

«Слово в жизни и слово в поэзии» есть глухая ссылка на него по частному поводу, о которой речь пойдет в третьем экскурсе). Есть лишь две ссылки на книгу Г. Г Шпета о Гумбольдте, одна из которых (218) прямого отношения к Гумбольдту не имеет, а другая (261) также, прежде всего, характеризует отношение авторов к Шпету: «Концепция Шпета, очень субъективная, лишняя раз доказывает, насколько сложен и противоречив Гум-больдт; вариации вышли очень свободными». Сама же «сложность и противоречивость» Гумбольдта должна приниматься читателем на веру. Можно даже предположить, что авторы МФЯ не читали Гум-больдта или читали в небольшом объеме, а судили о нем на основе его интерпретаций у других авторов (не только Г. Г Шпета, но прежде всего К. Фосслера и его школы).

Если вернуться к «основоположениям» «индивидуалистического субъективизма», процитированным выше, то можно увидеть их неполное соответствие идеям В. фон Гумбольдта, хорошее представление о которых дает наиболее полное русское издание его трудов.<sup>18</sup> Лишь первое и четвертое «основоположения» более или менее соответствуют этим идеям, хотя выражены иначе, исключая восходящие к Гумбольдту, но использовавшиеся и его последователями греческие слова *energeia* и *ergon*. Третье «основоположение» о сходстве языкового и художественного творчества также может быть возведено к Гумбольдту, но там этот пункт никак не относится к «основоположениям» и упомянут лишь вскользь. И совсем не соответствует Гумбольдту пункт второй: «Законы языкового творчества суть индивидуально-психологические законы». Но у Гумбольдта индивидуальная психика второстепенна, он все время подчеркивает, что язык – коллективное явление, выражение не духа индивида, а «духа народа»: «Язык... есть лишь продукт языкового сознания нации, и поэтому на главные вопросы о началах и внутренней жизни языка... вообще нельзя должным образом ответить, не поднявшись до точки зрения духовной силы и национальной самобытности».<sup>19</sup> «Язык... не создание народов, а доставшийся им в удел дар, их внутренняя судьба. Когда мы говорим, что язык самодетелен, самосоздан и божественно свободен, а языки скованы и зависимы от народов, которым принадлежат, то эта не пустая игра слов».<sup>20</sup> «Язык... заложен в самой природе человека и необходим для развития его духовных сил и формирования мировоззрения, а этого человек только тогда сможет достичь, когда свое мышление поставит в связь с общественным мышлением».<sup>21</sup>

Сам ярлык «индивидуалистического субъективизма» мало подходит к Гумбольдту. Этот мыслитель, наоборот, подчеркивал роль объективных законов развития языка, весьма мало зависимых от воли отдельных людей, хотя, разумеется, его понимание таких законов отлично от «объективизма» младограмматиков или структуралистов. И совсем нет у него «индивидуализма»: первичен народ. И «дух народа» – понятие не психологическое. Надо учитывать и то, что во времена Гумбольдта психология только начинала формироваться как наука.

Ситуацию с посмертной судьбой идей Гумбольдта хорошо охарактеризовал современный последователь МФЯ Б. Гаспаров (о концепции которого специально будет говориться в последней главе): «Несмотря на то, что идеи Гумбольдта сохраняли высокую авторитетность на протяжении как большей части XIX, так и XX века, в конкретных описаниях истории и структуры различных языков они фактически не отразились».<sup>22</sup> МФЯ, разумеется, не есть «конкретное описание», но общая традиция почитать немецкого мыслителя, не пользуясь его идеями, проявилась даже здесь. Об этой традиции по сути писали и во времена появле-

<sup>18</sup> Гумбольдт 1984

<sup>19</sup> Гумбольдт 1984: 47

<sup>20</sup> Гумбольдт 1984: 49

<sup>21</sup> Гумбольдт 1984: 51

<sup>22</sup> Гаспаров 1996: 21

ния МФЯ. Показательно замечание Л. П. Якубинского о А. И. Томсоне: «Приходится, пожалуй, пожалеть, что Гумбольдт оказал только „нравственное“ влияние на этого, в своей сфере очень знающего, очень тонко наблюдающего исследователя». <sup>23</sup> Да и К. Фос-слер отмечал, что хотя в современной ему лингвистике охотно повторяются слова *ergon* и *energeia*, это не означает, что идеи Гумбольдта принимаются всерьез. <sup>24</sup>

И при общей философской направленности МФЯ авторы книги вовсе не используют философские идеи Гумбольдта, проявившиеся в его рассуждениях о духе народа и духе языка. Вряд ли они были им близки. Даже там, где ссылка на Гумбольдта была бы уместной с точки зрения их концепции, например в связи с признанием языка социальным явлением, они этого не делают. Из всех коллективов для Гумбольдта, прежде всего, был важен народ, то есть множество людей, говорящих на одном языке. Такое понимание социального в языке, свойственное эпохе романтизма, для авторов МФЯ не было актуальным.

Тем не менее я не могу согласиться с мнением Н. Л. Васильева, который пишет: «Действительно, Волошинов вряд ли обоснованно связывает развитие „индивидуалистического субъективизма“ (фосслерианства) с именем В. Гумбольдта. Скорее... последнего следует рассматривать как предшественника Соссюра». <sup>25</sup> У Соссюра есть влияние Гумбольдта (не упомянутого в соссю-ровском курсе) по некоторым вопросам, например по вопросу о форме и субстанции (материи) языка, но в том, что интересует авторов МФЯ, в понимании языка либо как деятельности, либо как «устойчивой неизменной системы» взгляды двух классиков науки о языке решительно расходились: Гумбольдт (как и его последователь Фос-слер) стоял на первой точке зрения, а Соссюр на второй.

О дальнейшем развитии «индивидуалистического субъективизма» в МФЯ, в частности, говорится: «В русской лингвистической литературе важнейшим представителем первого направления („индивидуалистического субъективизма“ – В.А.) является А. А. Потебня и круг его последователей» (261); названо несколько имен представителей основанной Потебней и уже не существовавшей к 1928 г. Харьковской школы. Однако более в книге нигде идеи этих ученых не используются. Есть мнение о значительном влиянии Потебни на концепцию МФЯ и работ Бахтина 30—50-х гг., <sup>26</sup> однако трудно об этом судить. Несколько подробнее в МФЯ сказано о продолжателях традиций Гумбольдта в немецкой науке второй половины XIX в. Хаймане Штейнтале и Вильгельме Вундте. Эти ученые действительно сделали шаг в сторону «индивидуалистического субъективизма», обратившись к психологии, поначалу к коллективной, а затем все более к индивидуальной; тем самым их оценки в МФЯ адекватнее, чем оценки Гумбольдта. Указано, что «вундтовская психология народов складывается из психик отдельных индивидов; для него всей полнотой реальности обладают только они» (262). Оценка этого периода в развитии «индивидуалистического субъективизма» не слишком лестна: «направление значительно мельчало» по сравнению с его создателем, на его развитии отразился позитивизм, а у школы Вундта «связь с Гумбольдтом... уже очень слабая» (262). Со всем этим можно согласиться, но и эти ученые затем исчезают со страниц книги.

К числу современных представителей «индивидуалистического субъективизма» отнесен итальянский философ-неогегельянец Бенедетто Кроче, много занимавшийся проблемами философии языка. Вопрос об идеях этого ученого в связи с идеями МФЯ специально разобран в статье, <sup>27</sup> где, в частности, отмечается различие между его идеями и идеями школы

<sup>23</sup> Якубинский 1986: 23

<sup>24</sup> Фосслер 1928: 148

<sup>25</sup> Васильев 2000а: 61

<sup>26</sup> Киклевич 1993: 12—13

<sup>27</sup> Брандист 1995

Фосслера. Однако в МФЯ о Кроче говорится кратко и тоже лишь в историографическом очерке, где подчеркнута: «Идеи Бенедетто Кроче во многих отношениях близки к фосслеровским», «и для Кроче (как и для Фосслера. – В.А.) индивидуальный речевой акт выражения является основным феноменом языка» (264–265). То есть, прежде всего, отмечено сходство идей немецкого и итальянского ученых, а их различие не обсуждается.

Все эти ученые по существу рассматриваются в МФЯ только как предшественники или соратники Карла Фосслера и ученых его школы, прежде всего Лео Шпитцера. Именно идеи этой школы излагаются в приведенных выше «основоположениях» данного направления в языкознании (так же как «основоположения» другого направления излагают концепцию Ф. де Соссюра). За пределами чисто историографического раздела в первой главе второй части из представителей «индивидуалистического субъективизма» в книге названы К. Фосслер, Л. Шпитцер (Шпицер), Е. Лорк, Э. Лерч, Г. Лерч (двое последних в третьей части).

Именно для школы Фосслера были свойственны все четыре «основоположения», в том числе сведение законов творчества к «индивидуально-психологическим» и выдвижение на первый план схождения между языковым и художественным творчеством. А все, что в книге есть от В. фон Гумбольдта, прежде всего понимание языка как деятельности и скепсис по отношению к познавательной ценности информации, содержащейся в грамматиках и словарях, пришло, если использовать любимый термин первой части МФЯ, в «преломлении» школы Фосслера. Поэтому нельзя согласиться с В. В. Колесовым, который, отмечая влияние Гумбольдта на Бахтина, даже не упоминает Фосслера по имени, относя его школу лишь к «крайним проявлениям» гумбольдтианства.<sup>28</sup>

Оценки этой школы в книге исключительно высоки и сравнимы лишь с оценками Гумбольдта. Одна из них приводилась выше. Вот другая: «Первое направление философии языка („индивидуалистический субъективизм“. – В.А.), сбросив с себя путы позитивизма, снова достигло могучего расцвета и широты в понимании своих задач в школе Фосслера» (262). Споря с Р. О. Шор, видевшей в современной лингвистике прежде всего структурализм, авторы МФЯ заявляют: «Этот вывод поражает своей односторонностью и предвзятостью. С фактической стороны он совершенно не верен. Ведь к современной теоретической лингвистике относится и школа Фосслера, являющаяся одним из наиболее мощных движений современной лингвистической мысли. Недопустимо отождествлять современную лингвистику лишь с одним из ее направлений» (316).

И в выборе тематики, и даже в подборе имен в МФЯ (и в других работах волошиновского цикла) ощущается влияние школы Фосслера. Например, в пятой главе будет специально говориться о перекличке идей между МФЯ и К. Бюлером. Этот ученый упомянут и в МФЯ (283), правда по частному вопросу, и как теоретик в предшествовавшей книге «Отчете» В. Н. Волошинова.<sup>29</sup> Но в поле зрения авторов МФЯ оказалась лишь одна его статья,<sup>30</sup> опубликованная как раз в юбилейном сборнике в честь пятидесятилетия Фосслера! Видимо, этот выдающийся ученый стал им известен благодаря их интересу к Фосслеру. Большой фрагмент МФЯ, посвященный отражению в высказывании переживания голода (303–306), навеян (что указано прямо) исследованием Шпитцера об отражении чувства голода в письмах итальянцев из австрийского плена в годы первой мировой войны (об этом исследовании см. также<sup>31</sup>). Наконец, главная конкретно-исследовательская тема МФЯ – несобственно-прямая речь – постоянный предмет исследований школы Фосслера, недаром

<sup>28</sup> Колесов 2003: 368

<sup>29</sup> Отчет 1995: 89

<sup>30</sup> Buhler 1922

<sup>31</sup> Жирмунский 1928: ЧИЙ

анализ истории изучения этой темы во многом сводится к анализу работ Э. Лерча, Г. Лерч и Е. Лорка.

И еще гипотеза, которую я не могу доказать и на которой не настаиваю, но которую все же рискну высказать. Одной из постоянных тем ученых школы Фосслера (романистов по конкретной специальности) было изучение Франсуа Рабле. В частности, словообразованию у этого классика литературы была посвящена диссертация Л. Шпитцера.<sup>32</sup> Не здесь ли один из истоков написанной много позднее знаменитой диссертации М. М. Бахтина?

Откуда такой интерес к одному из направлений западной лингвистики, которое мало кто из языковедов 20-х гг. оценивал столь высоко (Р. О. Шор, как мы увидим ниже, была удивлена такими оценками)? При не очень значительной лингвистической эрудиции авторов МФЯ (об этом будет сказано ниже) несомненно их очень хорошее знание большого числа публикаций, вышедших из этой школы, «немногочисленной», по оценкам В. А. Звегинцева.<sup>33</sup>

Тут можно выдвинуть еще одну гипотезу. Обширное наследие работавшего всю первую половину XX в. К. Фосслера лишь в небольшой части переведено на русский язык. Но первые его публикации<sup>34</sup> появились в журнале «Логос», одном из центров русской идеалистической философии того времени. Журнал печатал многих видных русских философов, а также и зарубежных ученых (отмечу среди них «приват-доцента Г. Лукача» из Будапешта). Вопросы философии языка не были в данном издании в числе приоритетных, а К. Фосслер – кажется, единственный автор «Логоса», профессионально занимавшийся лингвистикой. Но именно его участие в журнале не случайно: из видных немецких лингвистов того времени лишь он интересовался философией языка. Другие его современники были склонны к позитивизму и не любили абстракции (один из них, Б. Дельбрюк, утверждал, что хорошее описание языка совместимо с любой теорией). А Фосслер был последовательным антипозитивистом, отстаивавшим идеализм (его собственный термин) в лингвистике; см. об этом, помимо статей в «Логосе», отрывки из его работ, включенные в хрестоматию В. А. Звегинцева.<sup>35</sup>

Бахтин и Волошинов вырастали в обстановке философских споров, кружков и бесед. Оба пришли в лингвистику из философии (Бахтин, впрочем, никогда из нее не уходил). «Логос», безусловно, был известен им с юности и не мог не быть авторитетным для них изданием. Очень вероятно, что философия языка с юности для них (или для кого-то одного из них) ассоциировалась с Карлом Фоссле-ром. А это повлекло за собой и внимательное изучение в оригинале его работ и работ его последователей.

В заключение раздела еще одно наблюдение. При чтении русских переводов работ Фосслера разного времени, невольно кажется, что они принадлежат разным авторам. Переводы советского времени<sup>36</sup> сухи и наукообразны (первый принадлежит известному германисту Б. А. Ильишу, тогда совсем молодому, второй, скорее всего – самому профессору В. А. Звегинцеву). А переводы в «Логосе» (переводчик не указан) звучат совсем иначе – эмоционально и высокопарно; читая их, ощущаешь, что автор – философ, а не профессор лингвистики. И стиль этих переводов нередко напоминает стиль МФЯ с «колыбелями», «свирелями» и др. Не хочу сказать, что Бахтин или Волошинов переводили Фосслера в «Логосе»: это исключено уже потому, что им во время публикации первого из переводов было по 15 лет. Так писали и другие авторы журнала. Это был общий стиль эпохи, под который «причесали» и немецкого ученого.

<sup>32</sup> Шпитцер 1928: 196; Жирмунский 1928: XPV

<sup>33</sup> Звегинцев 1960, 1: 266

<sup>34</sup> Фосслер 1910; Фосслер 1912—1913

<sup>35</sup> Фосслер 1960: 286—297

<sup>36</sup> Фосслер 1928; Фосслер 1960

В связи с этим отмечу, что общая маргинальность МФЯ для советской науки тех лет проявлялась не только в идеях, но и в стиле книги. Книга могла казаться несовременной даже не столько по содержанию, сколько по форме. «Филологическая свирель, пробуждавшая мертвых» и подобные выражения книги должны были казаться слишком «возвышенными» и «пролетарскому» читателю, и профессиональному лингвисту. Это стиль «Логоса» и вообще философии Серебряного века, тогда как языковеды и в предреволюционные годы писали менее эмоционально. Изменить язык и стиль бывает труднее, чем мировоззрение.

Вот один пример на ту же тему. В последней части МФЯ сказано, что у фоссерианцев «иногда язык прямо превращается в игралище индивидуального вкуса» (342). Спустя три года появилась полемическая брошюра против марризма.<sup>37</sup> Стремясь доказать тезис о том, что «у каждого класса свой язык» (свойственный тогда не только Н. Я. Марру, но и его противникам), ее автор сопоставляет словарь В. И. Ленина («сапоги всмятку», «похабный мир», «сволочь идеалистическая» и т. д.) и «буржуазный» словарь П. Н. Милюкова. И в примеры последнего наряду со «стяжанием» и «властеборством» попадает как раз «игралище».<sup>38</sup> Совпадение, конечно, случайное. Однако «игралище» для СССР начала 30-х гг. выглядело как «чужое слово». Во избежание недоразумений скажу, что автор брошюры П. С. Кузнецов (впоследствии один из моих учителей в МГУ) был очень серьезным ученым. У него не было ни желания выслужиться, ни «карнавальной» иронии, просто он бессознательно стремился быть «в ногу» со своим временем. А авторам МФЯ при их симпатиях к марксизму (см. четвертую главу) это не удавалось.

Впрочем, если язык Московской и Ленинградской лингвистических школ был совсем непохож на язык и стиль МФЯ, то как раз Н. Я. Марр и подражавшие ему ученики вроде молодого В. И. Абаева были в этом отношении ближе к МФЯ. Может быть, это одна из причин версии о «марризме» МФЯ, о которой речь пойдет ниже.

#### 1.1.4. Философия, философия языка и лингвистика

Помимо анализа идей лингвистов в МФЯ говорится и об идеях философов, как-то касавшихся проблем языка (впрочем, конечно, грань между лингвистами и философами нередко достаточно условна – куда, например, отнести Гумбольдта?). Не будучи по специальности историком философии, я не могу рассмотреть сколько-нибудь детально проблему философских истоков концепции МФЯ; как я уже отмечал, эта проблема сейчас изучается. Особенно надо отметить английского исследователя К. Брандиста.<sup>39</sup> Кое-что, однако, отметить нужно. Например, бросается в глаза, что за исключением упоминавшегося выше Б. Кроче эти философы – только немецкие ученые.

В конце жизни Бахтин рассказывал В. Д. Дувакину, что он с раннего детства говорил по-немецки и немецкий был для него почти первым языком, что И. Кант в оригинале он читал еще в детстве.<sup>40</sup> Конечно, не все такие рассказы надо воспринимать как абсолютно достоверные. Они могли быть таким же мифотворчеством, как рассказы тому же Дувакину о потомственном дворянстве или окончании классического отделения Петроградского университета. Но что-то они отражают. Безусловно, и Бахтин, и Волошинов росли в атмосфере немецкой философской культуры. Ориентация на эту культуру очень заметна во всех текстах круга Бахтина 20-х гг. Разумеется, это не значит, что авторы МФЯ не знали других языков (по крайней мере, французского): они, например, разбирают в оригинале Ф. де Соссюра,

<sup>37</sup> Кузнецов 1932

<sup>38</sup> Кузнецов1932: 4

<sup>39</sup> Brandist 2002; Brandist 2004

<sup>40</sup> Беседы 1996: 36

тогда еще не переведенного ни на русский, ни на немецкий язык. Но из франкоязычных авторов сколько-нибудь детально разбираются только Соссюр и Ш. Балли. А. Сеше, А. Мейе и Э. Дюркгейм упомянуты вскользь, Б. Кроче – в двух коротких абзацах. И всё! А немецких фамилий (включая австрийские) больше двух десятков. И как раз в эпоху, когда и лингвистика, и философия уже перестали быть «немецкими науками», какими они были весь XIX век.

Безусловно, немецкая наука (особенно выходящая за рамки позитивизма) близка авторам МФЯ, в ее анализе они как бы дома. Вовсе не обязательно они согласны с разбираемыми авторами; наоборот, нередко они их критикуют. Но Э. Кассирер, В. Дильтей, Г. Коген, Г. Риккерт, Ф. Брентано, Г. Зиммель и другие немецкие философы, упомянутые в книге, – представители привычной культурной среды, мысленный диалог с ними круг Бахтина вел уже давно. В этот ряд естественно входили и К. Фосслер с Л. Шпитцером, пусть, они занимались не только лингвофилософскими, но и конкретно-лингвистическими проблемами.

Вот характерный пример лучшей ориентации авторов МФЯ в философской, чем в лингвистической литературе. В самом начале второй части книги говорится: «Специальных работ по истории философии языка до сих пор нет», а «единственным пока солидным очерком истории философии языка и лингвистики» назван раздел в книге философа Э. Кассирера (259). В рецензии на МФЯ Р. О. Шор, профессиональный историк лингвистики, без труда показала, что это не так и на западных языках есть несколько книг такого рода, написанных не философами, а лингвистами, где информации содержится больше, чем у Кассирера.<sup>41</sup> Сразу отмечу и то, о чем подробнее будет сказано в третьем экскурсе: формы вежливости японского языка отразились в статье «Слово в жизни и слово в поэзии» благодаря тому, что о них упоминалось в книге Э. Кассирера. Этот ученый (среди видных философов-неокантианцев более других касавшийся вопросов языка и во многом следовавший идеям Гумбольдта) вообще был для Бахтина особо значим; см. об этом специальную публикацию,<sup>42</sup> а также;<sup>43</sup> мы вернемся к этому вопросу в третьей главе. В недавнее время на Западе даже был поднят вопрос о «Бахтине-плагиаторе», поскольку в книге о Рабле обнаружили идеи, совпадающие с Кассирером.<sup>44</sup> А недавно Г. Амелин вообще заявил о «глубочайшей неоригинальности» Бахтина, якобы все свои идеи (включая идеи, содержащиеся в публикациях круга Бахтина) заимствовавшего у Г. Зиммеля и других немецких авторов.<sup>45</sup> Такая точка зрения, разумеется, является крайней.

Таким вниманием к немецкой немарксистской философии (о марксизме мы будем специально говорить в четвертой главе) книга резко отличалась от большинства современных ей работ в СССР, не только лингвистических, но и философских (хотя влияние Э. Кассирера наблюдалось даже у Н. Я. Марра, что тот признавал). Помимо общего процесса вытеснения из обихода немарксистской философии, не требующего особых объяснений, надо учитывать еще два обстоятельства.

Во-первых, в 1928–1929 гг. немарксистская философия, причем касавшаяся и проблем языка, в СССР еще существовала: работали и публиковались Г. Г. Шпет, А. Ф. Лосев (последний, кстати, работы по теории языка печатал даже в 50–60-е гг.), оба упомянуты в МФЯ. Но упоминание обоих там либо безоценочно, либо отрицательно. О книге<sup>46</sup> сказано: «Дана основательная критика концепции Вундта, но собственное построение Г. Шпета совершенно

<sup>41</sup> Шор 1929: 149

<sup>42</sup> Lahtemaki 2002

<sup>43</sup> Brandist 2004: 114–116

<sup>44</sup> Панич 2001: 174–178

<sup>45</sup> НГ, 20.02.2003

<sup>46</sup> Шпет 1927

неприемлемо» (262); оценка его же книги о Гумбольдте приведена выше. Оба ученых явно не близки авторам МФЯ. А других философов языка тогда у нас не было, исключая марксистов, о которых речь пойдет в четвертой главе.

Во-вторых, в советской лингвистике независимо от общественной ситуации и даже отчасти вопреки ей (марризм требовал иного) в те годы распространялись структурные методы (пусть тогда они так не именовались). А большинству структуралистов была свойственна нелюбовь к «философствованию» (исключая отдельные ветви структурализма вроде глоссематики, связанной с неопозитивизмом). В советской науке о языке тех лет, если отвлечься от попыток построения марксистской лингвистики, о которых будет сказано ниже, не играли сколько-нибудь существенной роли обращения к философским теориям. В этом не было ничего нового: структуралисты следовали заветам позитивизма.

Но следует разобраться еще в одной проблеме, которую несколько лет назад поднял Н. Л. Васильев, один из наиболее серьезных и трезвомыслящих исследователей круга Бахтина в нашей стране. В комментариях к МФЯ в «Тетралогии» он пишет, что проблематика этой книги не относится к лингвистике, поскольку философия языка—особая наука, основанная на «классическом и новом кантианстве».<sup>47</sup> И далее: «Предметом внимания авторов МФЯ является не столько язык, сколько языковая природа человеческого общения – ее коммуникативный, социологический, психологический, эстетический и иные аспекты».<sup>48</sup>

Здесь надо разграничить два вопроса: терминологический и содержательный. Термин «философия языка», нередкий в XIX в., в XX в. стал менее распространенным. Он чаще употребляется философами, обращавшимися к проблемам языка, чем лингвистами, обращающимися к теории своей науки. Среди таких философов действительно часто бывали кантианцы или неокантианцы, а Бахтин в конце жизни любил говорить о своем кантианстве. Это, однако, не обязательно: вспомним хотя бы чисто лингвистическую и никак не кантианскую книгу датского ученого Отто Есперсена «Философия грамматики»,<sup>49</sup> впервые изданную за пять лет до МФЯ, но далекую от нее по идеям.

Но конечно, отсутствие в том или ином сочинении словосочетания «философия языка» еще не означает, что проблематика там иная по сравнению с трудами, где словосочетание есть. Важнее, конечно, содержательный аспект. Я согласен с Н. Л. Васильевым в том, что в центре внимания МФЯ—не язык как таковой, а использование его человеком (см. об этом в третьей главе). Но перечисленные им аспекты человеческого общения, имея, разумеется, отношение к философии, изучались, и изучались не только философами (и тем более не только последователями И. Канта), но и (в зависимости от специфики того или иного аспекта) специалистами по тем или иным наукам, в том числе лингвистами. Вопросы языкового общения либо включаются в лингвистическую теорию, либо ею принципиально игнорируются, как в последовательном «абстрактном объективизме». Последний подход – тоже, если угодно, некоторая философия, пусть в данном пункте нулевая. А сейчас (см. седьмую главу) проблема общения вновь стала центральной в теоретической лингвистике.

Можно, конечно, проблему, поднятую Н. Л. Васильевым, свести к чисто терминологической и считать, что ученый, не просто описывающий факты языка, а строящий некоторую теорию, уже перестает быть лингвистом и становится философом языка. Но вряд ли столь широкое употребление термина «философия» рационально.

Главное – в другом. Исходя из точки зрения Н. Л. Васильева, мы можем придти к выводу о том, что авторы МФЯ и, например, Ф. де Соссюр различались не только концепциями, но и самими предметами исследования и не имеют никаких точек соприкосновения.

<sup>47</sup> Васильев 1998: 540

<sup>48</sup> Васильев 1998: 541

<sup>49</sup> Есперсен 1958

Так, кстати, не считали и авторы МФЯ, включавшие «абстрактный объективизм» в число концепций философии языка. См. также современное исследование, где говорится о глубинной философии языка у Соссюра, только не кантианской, а картезианской, чуждой кругу Бахтина.<sup>50</sup>

Я исхожу из другой посылки: в МФЯ, прежде всего во второй части книги (но отчасти и в первой: проблема знака), содержится любопытная лингвистическая концепция, трактующая те же проблемы, что и «обычная» теория языкознания, но с существенно иных позиций. Лингвистическое содержание имеет и третья часть книги, посвященная несобственно-прямой речи. Из этого не следует, что вся проблематика книги является лингвистической. Но и ее лингвистический аспект заслуживает внимания.

---

<sup>50</sup> Vauthier 2002: 259—263

## 1.2. МФЯ и современная книга советская лингвистика

### 1.2.1. Московская и Петербургская лингвистические школы

Рассмотрев отношение МФЯ к предшествующей и современной ей мировой науке о языке, теперь можно перейти к выявлению места книги в развитии отечественной лингвистики. Здесь есть два аспекта: состояние этой науки в нашей стране к концу 20-х гг. и вопрос о контактах авторов книги с русскими советскими лингвистами. К сожалению, в последнем случае у нас часто мало фактического материала.

Во второй половине XIX в. и в начале XX в. в России сложились четыре ведущие школы языкознания: Харьковская, основанная А. А. Потебней, Московская, созданная Ф. Ф. Фортунатовым, Казанская и Петербургская, сформированные в разное время И. А. Бодуэном де Куртенэ. К 20-м гг. XX в. из этих школ реально остались лишь две: в Харькове заметных лингвистов уже не было, а в Казани еще работал последний из крупных представителей соответствующей школы В. А. Богородицкий, но он остался изолирован в науке. Господствовали и продолжали развиваться Московская школа, сложившаяся в 80-е гг. XIX в., и Петербургская, теперь уже Ленинградская школа, возникшая вскоре после переезда в 1900 г. ее основателя в Петербург. Об истории создания Петербургской школы см..<sup>51</sup>

Обе школы формировались в эпоху господства позитивизма и младограмматизма. Однако они заметно отошли от классической концепции младограмматиков, по-разному от нее отталкиваясь. Ф. Ф. Фортунатов, ученый, мало публиковавшийся, но имевший большое влияние на учеников устными курсами лекций, в общетеоретических высказываниях мало отличался от младограмматиков, но его оригинальность проявилась в конкретной исследовательской практике. Увлекавшийся математикой Фортунатов стремился внести в лингвистику математическую строгость мышления, распространяя ее не только на реконструкцию прасистем, но и на исследования по теории грамматики; см. его посмертно изданные курсы.<sup>52</sup> Фортунатовскую школу ее противники, в том числе и в период появления МФЯ, называли «формальной», поскольку она стремилась рассматривать явления языка строго, на основе языковых форм, без апелляции к значению (хотя, разумеется, с его учетом) и языковому сознанию говорящих. Такой подход закономерно привел многих последователей школы к структурализму. Именно из Московской школы вышли крупнейшие представители европейского структурализма Николай Трубецкой и Роман Якобсон, последний отмечал особую роль Фортунатова в становлении своих идей.<sup>53</sup>

И. А. Бодуэн де Куртенэ, основные труды которого собраны в двухтомнике,<sup>54</sup> был значительно критичнее по отношению к господствующим идеям лингвистики его времени и выдвигал концепции, предвосхищавшие структуралистские. Выше упоминалась его высокая оценка у В. Матезиуса, достаточно типичная для структуралистов; иногда даже считали, что по сравнению с Бодуэном у Ф. де Соссюра не было ничего особо нового.<sup>55</sup> Петербургская школа по сравнению с Московской характеризовалась особым интересом к постановке общих проблем, к тому, что в МФЯ названо философией языка; есть даже версия о

<sup>51</sup> Колесов 2003: 286—314

<sup>52</sup> Фортунатов 1956—1957

<sup>53</sup> Якобсон 1985: 6—7

<sup>54</sup> Бодуэн 1963

<sup>55</sup> Поливанов 1968: 185

кантианской основе концепции Бодуэна.<sup>56</sup> Школа не стремилась ограничить исследования строго формальными процедурами, к чему имела склонность Московская школа. Петербургская школа постоянно обращалась к семантике, а психологический уклон сохранялся у нее дольше, чем у москвичей. Именно И. А. Бодуэн де Куртенэ ввел в мировую лингвистику понятие фонемы, но он понимал ее как «фонационное представление» в человеческой психике.

Ко времени написания МФЯ Фортунатова давно не было в живых, а Бодуэн де Куртенэ с 1918 г. жил на родине, в Польше. В Москве фортунатовские традиции продолжали Д. Н. Ушаков, М. Н. Петерсон; более молодой Н. Ф. Яковлев, близкий по идеям к Трубецкому и Якобсону, также модифицировал идеи школы в сторону структурализма. Близка к Московской школе была и Р. О. Шор, неоднократно упоминаемая в МФЯ, хотя ее взгляды не всегда отличались последовательностью. Начинали свой научный путь московские лингвисты самого тогда молодого поколения: Р. И. Аванесов, П. С. Кузнецов (упомянутый выше), А. А. Реформатский, В. Н. Сидоров (о них мы поговорим в экскурсе 3). Подробнее о Московской школе см..<sup>57</sup>

Ленинградская школа отошла от идей Бодуэна де Куртенэ больше, чем Московская школа от идей Фортунатова. Из троих выдающихся учеников Бодуэна де Куртенэ в наибольшей степени сохранил верность идеям учителя Е. Д. Поливанов, еще в 1921 г. покинувший Петроград, а оставшиеся в этом городе Л. В. Щерба и Л. П. Якубинский, особенно последний, отошли от психологизма и ряда других пунктов концепции учителя. Близок к Ленинградской школе был и не учившийся у Бодуэна де Куртенэ непосредственно Виктор Владимирович Виноградов, о котором в данной книге будет не раз говориться. В 1928 г. он еще жил в Ленинграде, через два года он переедет в Москву, но не примкнет к Московской школе, а будет создавать собственную.

В МФЯ, как уже упоминалось, названа Харьковская школа, а затем говорится о Казанской школе и школе Фортунатова, то есть о Московской школе. Бодуэн де Куртенэ вместе с Н. В. Крушевским отнесен к Казанской школе. Петербургская школа специально не упоминается, но ряд ее представителей фигурирует в книге. Все эти школы, кроме уже не существовавшей харьковской, отнесены к «абстрактному объективизму» и оцениваются равно отрицательно: «Две русские лингвистические школы: школа Фортунатова и так называемая „казанская школа“ (Крушевский и Бодуэн де Куртенэ), являющиеся ярким выражением лингвистического формализма, всецело укладываются в рамки очерченного нами второго направления философско-лингвистической мысли» (273), то есть «абстрактного объективизма». Сюда же отнесен и «последователь „Женевской школы“» В. В. Виноградов (273).

Такая оценка не вполне точна. Все-таки Московская школа в большей степени укладывалась в рамки «абстрактного объективизма», чем Петербургская школа, особенно в ранних вариантах последней. Недаром Московскую школу постоянно обвиняли в «лингвистическом формализме», но И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В. Крушевского отнесли к нему, кажется, лишь в МФЯ. Во всяком случае, эти два выдающихся лингвиста в не меньшей степени выходили за рамки «абстрактного объективизма», чем младограмматики, совмещавшие, по мнению МФЯ, черты обоих направлений. Отнесение В. В. Виноградова к Женевской школе также спорно (см. ниже). Впрочем, к концу 20-х гг. Ленинградская школа, главой которой тогда был Л. В. Щерба, развивалась в сторону более последовательного «абстрактного объективизма». Дальше всего от него, пожалуй, был Е. Д. Поливанов (о нем речь особо пойдет в четвертой главе), но его работы ни разу не упомянуты ни в МФЯ, ни в других работах волошиновского цикла.

<sup>56</sup> Колесов 2003: 314—325

<sup>57</sup> Алпатов 2001б

Бросается в глаза и то, что в МФЯ (и вообще в волошиновском цикле) чаще объектом критики служит Ленинградская школа, а представители Московской школы (Р. О. Шор, М. Н. Петерсон) больше фигурируют безоценочно, как источники информации о современной лингвистике Запада. Лишь один раз идет резкая полемика с Р. О. Шор по поводу игнорирования ею школы Фосслера. Впрочем, в последней части книги имеется и полемика с «абстрактным объективистом» А. М. Пешковским, тоже представителем Московской школы, хотя и занимавшим в ней несколько особую позицию.

Вероятно, больший акцент на полемике именно с ленинградцами, особенно с Виноградовым, связан не столько с принципиальными вопросами, сколько с лучшим личным знакомством, а иногда, как в случае Виноградова, и с пересечением интересов в науке. Отсутствие личных контактов авторов МФЯ с московскими учеными, знакомыми им лишь по публикациям, хорошо видно в связи с допущенной в первом издании МФЯ ошибкой: жившая в Москве Розалия Осиповна Шор несколько раз представлена как мужчина. Один из комментаторов МФЯ считает эту ошибку намеренной, «карнавальной».<sup>58</sup> Нам это представляется невероятным, более естественное предположение – недостаточная осведомленность авторов (ошибка была исправлена во втором издании книги, но сохранена в современных ее переизданиях). Симптоматична и другая ошибка, относящаяся к иной эпохе. Когда в разговоре Бахтина с В. Д. Дувакиным речь зашла о Московской школе и ее основателе, Бахтин спросил своего собеседника: «Вы ученик Фортунатова?».<sup>59</sup> Вопрос странен: Фортунатов умер, когда Дувакину было пять лет (а если учитывать, что Фортунатов оставил преподавание в 1902 г., то трудно было в 1973 г. встретить его живого ученика). Для Бахтина Фортунатов и его ученики – нечто далекое, известное лишь по книгам, и он просто не помнил, когда этот лингвист жил и преподавал.

## 1.2.2. Авторы МФЯ, их учителя и коллеги

Встает вопрос о том, какую лингвистическую подготовку получили авторы книги и насколько они были связаны с советской наукой о языке тех лет. Здесь больше сведений можно получить о Волошинове, но трудно сказать что-либо достоверное о Бахтине. Что-то есть в его беседах с В. Д. Дувакиным, но они все-таки в первую очередь отражают его взгляды последних лет жизни, и не всегда ясно, что было на самом деле.

Нет никаких точных данных о полученном Михаилом Михайловичем образовании. В его окружении в Невеле и Витебске как будто не было ни одного лингвиста (Волошинов тогда еще был от этой науки далек). В Ленинграде он мог общаться со многими тамошними языковедами, но положение не состоящего на службе «домашнего мыслителя» ограничивало деловые контакты, а среди людей, с которыми имелись постоянные личные контакты, к лингвистике непосредственное отношение стал иметь к тому времени лишь Волошинов. Даже о личных взаимоотношениях Бахтина с Виноградовым ничего достоверно не известно. Заседание ВАК 21 мая 1949 г., о котором речь пойдет ниже, кажется, единственный документально подтвержденный случай, когда эти два человека видели друг друга.

Как показано в,<sup>60</sup> нет никаких данных о том, чтобы Бахтин когда-либо и где-либо учился после четвертого класса гимназии. Его личные свидетельства разных лет об образовании (как и о многом другом вплоть до года рождения) крайне противоречивы. Вряд ли противоречия были нужны при наличии высшего образования, зато они естественны, если надо было скрывать отсутствие такового и тем более отсутствие среднего образования. Если

<sup>58</sup> Пешков 1998: 552

<sup>59</sup> Беседы 1996: 59

<sup>60</sup> Паньков 1993

бы это обнаружилось, то Бахтин лишился бы права преподавать в вузе и не смог бы стать кандидатом наук. Единственный случай, когда сообщение самого Михаила Михайловича можно считать достоверным, – это его заявление на следствии о том, что он не окончил университет и высшего образования не имеет. Как показывает опыт изучения следственных дел второй половины 20-х и первой половины 30-х гг.,<sup>61</sup> при фиксации биографических сведений, прямо не связанных с обвинениями в «контрреволюционной деятельности», подследственный старался быть максимально точным: ошибки и сознательные искажения могли бы привести к дополнительным неприятностям. В итоге можно считать достоверными два факта: М. М. Бахтин учился в гимназии до четвертого класса, М. М. Бахтин не имел высшего образования. Где в довольно большом промежутке между четвертым классом и последним курсом остановилось его образование, неизвестно.

Тем не менее нельзя отрицать возможность того, что он какое-то время учился в Новороссийском университете в Одессе и/или в Петроградском университете. Даже человек, не кончивший гимназию, мог посещать какие-то лекции в качестве вольнослушателя. Беседы с В. Д. Дувакиным показывают, что Бахтин имел представление о ведущих профессорах этих университетов. Впрочем, надо учитывать еще одно обстоятельство: в обоих университетах учился (и тут есть документальные подтверждения) старший его брат Николай Михайлович Бахтин. Поэтому мнение М. М. Бахтина о А. И. Томсоне, И. А. Бодуэне де Куртенэ, Л. В. Щербе могло основываться и на рассказах брата и его университетских друзей (о Щербе – и от Волошинова, учившегося у него позднее).

Учитывая все сказанное, нельзя ни подтвердить, ни отрицать возможность личных встреч Михаила Михайловича еще в юности с несколькими крупными лингвистами. Первым из них мог стать преподававший в Одессе профессор, член-корреспондент Академии наук Александр Иванович Томсон. Это был один из старших учеников Ф. Ф. Фортунатова, преданный учителю и не воспринявший последующее развитие лингвистических идей. Он, например, отрицал фонологию, считая, что она, если и имеет право на существование, относится к психологии, а не к лингвистике. Так он говорил П. С. Кузнецову, с которым беседовал в 1932 г., за три года до смерти; воспоминания о нем Кузнецова см.<sup>62</sup> В то же время А. И. Томсон много занимался экспериментальной фонетикой, весьма критически оцениваемой в МФЯ (257–258). См. также приводившиеся выше слова о нем Л. П. Якубинского, назвавшего Томсона «очень знающим, очень тонко наблюдающим исследователем», который, однако, не был способен оценить Гумбольдта. В классификации МФЯ одесского профессора явно можно отнести к «абстрактным объективистам», хотя и дососюрловской эпохи. В МФЯ и других работах круга Бахтина он не упомянут, но в беседах с Дувакиным Бахтин оценил его очень хорошо: «Я помню, замечательный был лингвист Томсон. Он был прекрасный лингвист, прекрасный лингвист. Мы учились и сдавали по его великолепному учебнику... – „Введение в языкознание“». <sup>63</sup> Упомянуто, что Бахтин «как-то сейчас» хотел его достать, но это оказалось невозможным. Учился у Томсона Бахтин или нет, но учебник введения в языкознание он, несомненно, читал, и это, вероятно, была первая освоенная им лингвистическая книга (кроме, может быть, трудов Фосслера), которую он через много лет вспомнил, надо думать, в связи со своими занятиями по языкознанию.

В Петроградском университете в годы, когда там учился Николай и, может быть, Михаил Бахтин, ведущими лингвистами были Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ и его ученик Лев Владимирович Щерба. Первый из них, правда, тогда был связан с университетом мало: после трехмесячного заключения в 1914 г. он вернулся туда всего на год с небольшим

<sup>61</sup> Ашнин, Алпатов 1994

<sup>62</sup> ДКХ, 1995, № 2

<sup>63</sup> Беседы 1996: 31

после Февральской революции, и то лишь как «внештатный профессор».<sup>64</sup> До нас дошли отзывы Михаила Михайловича об обоих, зафиксированные В. Д. Ду-вакиным.

Бахтин характеризовал Бодуэна де Куртенэ так: «Это был очень крупный ученый. Но он не был педагогом. Он страшно увлекался, когда читал».<sup>65</sup> Повторена оценка Бодуэна де Куртенэ как большого ученого и плохого лектора, которую давал ему еще его первый ученик Н. В. Крушевский в письме к И. В. Цветаеву: «Лекции его полны содержания совершенно нового с внутренней стороны, с внешней безобразны, потому что он совершенно лишен дара слова»; цитируется по.<sup>66</sup> А о его научных взглядах сказано следующее: «Бодуэн де Куртенэ был, в сущности, основоположником. формализма вообще. Не ОПОЯЗа, а формализма вообще. Но было, собственно, два основоположника, которые создали два типа формализма в языкознании: московский Фортунатов... это один тип формализма. А вот другой тип, который как раз и лег в основу ОПОЯЗа, – это был... Бодуэн де Куртенэ. Он был ближе... вот к тому первоисточнику формализма вообще в мировом языкознании – это де Соссюра».<sup>67</sup> Далее Бахтин говорит: Бодуэн де Куртенэ у Соссюра «не учился, но знал его труды. И знал их сравнительно неплохо».<sup>68</sup>

Нетрудно видеть, что в 1973 г. Бахтин повторил оценки МФЯ. К «формализму» вновь причислена не только фортунатовская школа (что было широко распространено), но и бодуэновская школа (чего, кажется, никто, кроме авторов МФЯ, не делал). «Формализм» здесь употребляется в смысле, близком к смыслу термина МФЯ «абстрактный объективизм». В высказывании проявляется характерная для Бахтина черта: неточности в конкретике и глубина общих оценок. Бодуэн де Куртенэ предстает как последователь Соссюра (который был его моложе на 12 лет!), «неплохо знавший его труды», при этом Бахтин оговаривает, что имеет в виду лишь посмертно изданный его «Курс». Между тем «Курс» Соссюра вышел, когда Бодуэну был 71 год и тот уже высказал в печати основные свои идеи; в более поздних публикациях он «Курс» Соссюра не упомянул ни разу, и исследователи его творчества спорят о том, насколько он ему был известен. Но идея Бахтина (отсутствующая в МФЯ) о том, что Бодуэн де Куртенэ был ближе к Соссюру, чем Фортунатов и также упоминаемый им А. М. Пешковский, весьма справедлива (хотя Бодуэн в некоторых пунктах выходил за рамки «абстрактного объективизма»). Важно и указание Бахтина на то, что из идей Бодуэна де Куртенэ выросли ОПОЯЗ и формальная школа в литературоведении, враждебная кругу Бахтина (большинство членов ОПОЯЗа учились у Бодуэна).

Оценки Щербы у Бахтина совсем иные: «Щерба, собственно, не был теоретиком, он был все-таки... Во-первых, он был замечательным знатоком французского языка. Его книга основная о французском языке – это наиболее ценная его работа. Потом, он был педагог».<sup>69</sup> Щерба прямо противопоставлен своему учителю: тот был значительным лингвистом и слабым педагогом, а качества ученика противоположны. С оценкой Щербы как не теоретика согласиться трудно, хотя какие-то основания так считать у Бахтина могли быть. Этот лингвист долго находился как бы в тени учителя, проявив себя в 10—20-е гг. в качестве лектора и выдающегося специалиста по экспериментальной фонетике. Наиболее же крупные его теоретические публикации появились позднее: в 30-е и 40-е гг. К тому же Щерба (как и Соссюр, Фортунатов, Якубинский и ряд других ученых) больше реализовался в университетских курсах и печатался не так много. Упомянутая Бахтиным книга—видимо, несколько раз

<sup>64</sup> Колесов 2003: 313

<sup>65</sup> Беседы 1996: 58

<sup>66</sup> Пахолок 2003: 107

<sup>67</sup> Беседы 1996: 58—59

<sup>68</sup> Беседы 1996: 59

<sup>69</sup> Беседы 1996: 62

издававшаяся «Фонетика французского языка». Это действительно очень хорошая книга, но все же посвященная сравнительно узкой теме. Однако это – одна из всего лишь трех монографий ученого (две другие – о русских гласных и о лужицком языке). Свою теоретическую концепцию Щерба выразил более всего в ста-тьях, которые были собраны в два сборника уже после его смерти.<sup>70</sup>

Сейчас мы представляем наследие этого ученого иначе, чем это могло казаться в 10—20-е гг. Представление о том, что Щерба – «не теоретик», вероятно, шло и от Волошинова, бесспорно у него учившегося. Видимо, поэтому имя Щербы ни разу не упомянуто в МФЯ, хотя в Ленинграде конца 20-х гг. он был самым именитым лингвистом после Марра. И если бы не беседы с Дувакиным, мы никогда бы не узнали отношения круга Бахтина к этому ученому. Его, видимо, считали там лишь хорошим популяризатором «абстрактно-объективистских» идей своего учителя. Не было обращено внимание даже на такое его высказывание, перекликавшееся с идеями МФЯ (замеченное Л. П. Якубинским в статье о диалогической речи): «Монолог является в значительной степени искусственной языковой формой. подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге».<sup>71</sup> Отмечу, что имя Л. В. Щербы (бывшего кадета) фигурирует в следственном деле, по которому осужден Бахтин<sup>72</sup> (как и в «деле славистов» 1933–1934 гг.); впрочем, после 1919 г. Щербу не арестовывали.

О лингвистической подготовке Волошинова известно несколько-ко больше. Нет никаких данных о его интересе к науке о языке до 1922 г., до возвращения из Витебска в Петроград. Потом, как свидетельствует его биограф Н. Л. Васильев, он поначалу был обусловлен внешними обстоятельствами. Волошинов хотел закончить прерванное в 1916 г. обучение в университете, но не на юридическом факультете, где учился раньше, а на литературно-художественном отделении факультета общественных наук, что вполне отвечало его наклонностям, проявлявшимся в Витебске. Однако по неизвестным нам причинам вопреки его просьбе Волошинов был зачислен на эт-нологическую лингвистическую специальность того же факультета.<sup>73</sup> Там он специализировался по лингвистике.

Курс отделения Волошинов прошел за два года, окончив университет, уже Ленинградский, в 1924 г. О том, у кого он учился, мне рассказал Д. А. Юнов, который готовит об этом публикацию по архивным данным; приношу ему в связи с этим благодарность.

Среди ученых, чьи курсы он должен был слушать, было немало известных: В. Ф. Шишмарев (высоко оцененный Бахтиным в беседах с Дувакиным), С. П. Обнорский, Н. С. Державин и др. Но особо надо отметить три имени. Это Л. В. Щерба, после отъезда И. А. Бодуэна де Куртенэ в Польшу безусловный научный лидер в лингвистической части факультета. Это Л. П. Якубинский, доцент факультета с 1923 г.<sup>74</sup> Это В. В. Виноградов, преподававший там с 1920 г. Правда, в годы, когда Волошинов кончал университет, будущий официальный глава советского языкознания был там «внештатный за неблагонадежностью», как выразился Р. Якобсон в 1925 г. в письме Н. Н. Дурново.<sup>75</sup> Однако Д. А. Юнов подтвердил, что Виноградов был в числе преподавателей, у которых учился Волошинов (отмечу, что Виноградов и Волошинов были ровесниками, но жизнь их сложилась так, что первый завершил образование намного раньше).

Возможны контакты Волошинова и с другими видными лингвистами тех лет. С. С. Конкин и Л. С. Конкина упоминают о том, что он какое-то время учился у такого крупного

<sup>70</sup> Щерба 1957; 1974

<sup>71</sup> Щерба 1915: 3—4

<sup>72</sup> Конкин, Конкина 1993: 189

<sup>73</sup> Васи-льев 1995: 9

<sup>74</sup> Леонтьев 1986: 5—6

<sup>75</sup> Letters 1994: 96—97

ученого, как Н. Ф. Яковлев.<sup>76</sup> Неясно, когда и как это происходило, поскольку Яковлев жил в Москве, а Волошинов в Ленинграде. Возможно, Яковлев, в те годы популярный «красный профессор», приезжал на короткое время в Ленинград прочесть какой-то курс. Среди знакомых Волошинова конца 20-х гг. Д. А. Юнов назвал имя А. А. Холодовича, тогда начинающего ученого (родился в 1906 г., окончил Ленинградский университет в 1926 г.), а впоследствии одного из крупнейших советских лингвистов 30—70-х гг.

По окончании университета в 1925–1930 гг. Волошинов работал, учился в аспирантуре и вновь работал в Институте сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ) при Ленинградском государственном университете. Именно к этому периоду относятся все значительные публикации, подписанные его именем. Обращает на себя внимание несоответствие между его местом в структуре института и тематикой его публикаций. В документах ИЛЯЗВ отмечается, что он специализируется по «методологии литературы», работает над «вопросами социологической поэтики», в аспирантуре направление его исследований – «история русской литературы», он некоторое время работал секретарем подсекции методологии литературы (как раз там обсуждался проспект МФЯ), его руководителем в аспирантуре был литературовед В. А. Десницкий. См. обо всем этом.<sup>77</sup> А среди публикаций нет ни одной чисто литературоведческой, разве что рецензия на книгу В. В. Виноградова; литературоведческая проблематика затрагивается в статье «Слово в жизни и слово в поэзии», но и она посвящена пограничным с лингвистикой вопросам; то же можно сказать и о третьей части МФЯ. В то же время им издана совсем далекая от литературоведения книга о фрейдизме, остальные же публикации—лингвистические. Вопросы же лингвистики, так или иначе, затрагиваются во всех публикациях, включая и книгу о фрейдизме. Но как лингвист Волошинов выступал в качестве одиночки, мало связанного даже с лингвистической секцией ИЛЯЗВ.

Любопытны здесь представления современников о Волошинове. Я успел в 1995 г. поговорить о нем с ныне покойной В. Н. Ярцевой, бывшей, вероятно, одной из последних среди тех, кто знал Валентина Николаевича, хотя и не близко. Она училась в Ленинградском пединституте имени Герцена как раз в годы, когда он там преподавал после закрытия ИЛЯЗВ. Виктория Николаевна, сама лингвист, говорила, что в институте Волошинова воспринимали как литературоведа, в лучшем случае занимавшегося пограничными с лингвистикой вопросами вроде стилистики. А ведь, по архивным данным, он читал тогда введение в языкознание и другие лингвистические курсы. Но лингвисты его «своим» все равно не считали.

Позиция лингвиста среди литературоведов могла быть связана и с личными причинами: как указывает Н. Л. Васильев, В. А. Десницкий «протезировал молодому ученому».<sup>78</sup> Но, вероятно, такая позиция давала Волошинову и определенную свободу, о чем свидетельствует история с обсуждением аспирантского отчета, которая будет обсуждена в следующей главе.

### I.2.3. Круг Бахтина и Л. П. Лкубинский

Нам остается обсудить отношения круга Бахтина с тремя видными ленинградскими лингвистами тех лет, упоминаемыми в МФЯ и других публикациях.

Среди профессиональных лингвистов, работавших в ИЛЯЗВ и общавшихся с Волошиновым, самым крупным был Лев Петрович Якубинский. Этот очень заметный в Ленин-

<sup>76</sup> Конкин, Конкина 1993: 133

<sup>77</sup> Паньков 1995

<sup>78</sup> Васильев 1995: 13

граде в 20—30-е гг. лингвист после смерти в 1945 г. оказался во многом забыт. Одной из причин этого стало то, что он в основном реализовывал себя как препо-даватель и лектор (а также как хороший организатор науки), очень мало печатаясь. Основные из его прижизненных публикаций собраны в небольшой по объему книге,<sup>79</sup> до того посмертно был издан один из его лекционных курсов конца 30-х гг.,<sup>80</sup> но он не имеет отношения к нашей теме.

Неизвестно, был ли знаком Якубинский с Бахтиным, но он, безусловно, был в течение нескольких лет тесно связан с Волошино-вым. До революции они одновременно учились на разных факультетах Петербургского/Петроградского университета (Якубинский был на три года старше), но нет данных об их знакомстве тех лет. Но потом, как уже говорилось, Волошинов учился в 1923–1924 гг. у Якубинского в университете. Потом они сталкивались в ИЛЯЗВ, где Якубинский возглавлял лингвистическую секцию. В том числе он входил в комиссию, учитывавшую успеваемость аспирантов института;<sup>81</sup> следовательно, он не мог не познакомиться с «Отчетом» Волошинова. В конце данной главы и в следующей главе я попытаюсь восстановить гипотетические замечания Якубинского к «Отчету». Позже Якубинский и Волошинов параллельно друг другу печатались в журнале «Литературная учеба», о чем будет говориться в пятой главе. После ИЛЯЗВ оба перешли в ЛГПИ имени А. И. Герцена, где Волошинов был некоторое время доцентом, а Якубинский до конца жизни профессором. Вероятно, Волошинова туда устроил именно Якубинский.

Л. П. Якубинский был учеником И. А. Бодуэна де Куртенэ, хотя рано пошел самостоятельным путем. Как ученый он начинал в рамках ОПОЯЗа, одним из создателей которого был; его ранние статьи собраны в книге.<sup>82</sup> Однако уже с начала 20-х гг. он начал отходить от формального метода, что нашло выражение в большой по объему статье «О диалогической речи», опубликованной в 1923 г. в сборнике «Русская речь. 1» (далее ссылки на ее переиздание в сборнике 1986 г.). Она оказалась самой крупной из теоретических публикаций ученого. В ней он ближе всего подходил к тематике и идеям МФЯ и других работ круга Бахтина.

В МФЯ статья упомянута дважды в третьей части. Она названа единственной в русской литературе работой, посвященной «проблеме диалога с лингвистической точки зрения» (332). Упоминание скорее нейтральное, чем положительное. Второй раз статья упомянута в связи с заимствованным из нее термином «внутреннее реплицирование» (335). Можно обнаружить и более широкие переключки между данной статьей и МФЯ, а также «Словом в жизни и словом в поэзии».

Это и критика игнорирования в традиционной лингвистике проблем функционирования речи. Это и интерес к идеям В. фон Гумбольдта как одного из ученых, обращавших на них внимание. Это и выдвижение на первый план проблемы диалога: «В сущности, всякое взаимодействие людей есть именно взаимо-действие; оно по существу стремится избежать односторонности, хочет быть двусторонним, диалогичным и бежит монолога».<sup>83</sup> Отмечу и рассуждения Якубинского о роли интонации в диалоге, перекликающиеся с тем, что сказано об этом в МФЯ и «Слове в жизни и слове в поэзии»; даже разбирается один и тот же пример с шестью мастеровыми из «Дневника писателя» Достоевского;<sup>84</sup> ср. (321–322). Также и проблема различия между «словом в жизни» и «словом в поэзии», ключевая для соответствующей статьи, упомянута Якубинским в статье о диалоге<sup>85</sup> и более подробно разобрана в ста-

<sup>79</sup> Якубинский 1986

<sup>80</sup> Якубинский 1953

<sup>81</sup> Паньков 1995: 72

<sup>82</sup> Якубинский 1986

<sup>83</sup> Якубинский 1986: 32

<sup>84</sup> Якубинский 1986: 29

<sup>85</sup> Якубинский 1986: 23—24

тые времен ОПОЯЗа (1917) «Скопление одинаковых плавных в практическом и поэтическом языке».<sup>86</sup> Влияние идей «теоретика школы формализма» Якубинского на МФЯ уже отмечалось в одном из предисловий к английскому изданию книги<sup>87</sup> (при этом, правда, не указано, что к 1923 г. Якубинский уже отошел от формализма). Идея о влиянии на МФЯ формальной школы через Якубинского повторяется и в другом предисловии.<sup>88</sup>

Впрочем, в статье Якубинского о диалоге есть и существенные расхождения с концепцией МФЯ. Прежде всего, они заключаются в том, что речевую деятельность человека автор статьи рассматривает не только как «социологический факт», но и как «факт психологический (биологический)».<sup>89</sup> С этим авторы МФЯ никак не были согласны, книга подчеркнута антипсихологична. А статья Якубинского в значительной части посвящена психологическим наблюдениям и самонаблюдениям.

Однако к концу 20-х гг. идеи статьи уже были прошлым для Якубинского. Как позже писал о нем В. В. Виноградов, от работ, имевших «явный отпечаток влияния идеалистической психологии», ученый пришел к тому, что «осваивал марксизм не как догму, а как творческий метод».<sup>90</sup> Такой путь тогда проделали многие, о чем будет говориться в четвертой главе. Но Якубинский «заблуждался, принимая теорию Н. Я. Марра за марксистское языкознание».<sup>91</sup> В конце 20-х – начале 30-х гг. Якубинский отличался и активной политической позицией (к тому времени вступил в партию), и стремлением построить марксистскую лингвистику, и верностью марровскому «новому учению», с которым он позже, во второй половине 30-х гг. решительно порвет.

Публикаций в то время у него мало. Это лишь уже упоминавшиеся статьи в «Литературной учебе» [Якубинский 1930а, б, в; Якубинский 1931а, б], потом изданные отдельной книгой [Иванов, Якубинский 1932], а также интересная статья с полемикой против Соссюра [Якубинский 1931в] (только эта статья включена в однотомник 1986 г.). Во всех этих публикациях по сравнению со статьей 1923 г. есть движение в сторону концепции, отраженной в МФЯ: полный отказ от психологизма и последовательный социологизм в отношении языка, критика идей Соссюра. Но уже сама тематика другая, что хорошо видно из сопоставления печатавшихся в одной серии статей в «Литературной учебе» (статьи, вышедшие под именем Волошинова, будут рассмотрены в пятой главе). Волошинов писал о социальной функции слова и высказывания, продолжая проблематику МФЯ, а Якубинский – об отражении в русском языке социальных различий. Статьи последнего в большей степени соответствовали основной линии развития социолингвистики в СССР тех лет. А критика Соссюра у Якубинского связана далеко не с тем, за что швейцарский ученый критикуется в МФЯ: Якубинский спорит с его высказыванием о невозможности для говорящих сознательно изменить свой язык, из чего следует невозможность целенаправленной языковой политики (здесь Якубинский по сути продолжал идеи своего учителя И. А. Бодуэна де Куртенэ). В четвертой главе я вернусь к этой статье. Лишь изредка Якубинский вспоминал о прежних темах. Говоря о возможности вносить элемент диалога в научно-популярную литературу, он писал: «Всякое утверждение включает в себе вопрос и ответ в снятом виде» [Якубинский 1931б: 51]. Однако он тут же сводит проблему диалога в письменной речи к его самой примитивной для письменного текста форме – вопросу-ответному (кате-хизисному) изложению.

<sup>86</sup> Якубинский 1986: 176—182

<sup>87</sup> Matejka 1986: 171

<sup>88</sup> Titunik 1986: 191

<sup>89</sup> Якубинский 1986: 17

<sup>90</sup> Виноградов 1953: 12

<sup>91</sup> Виноградов 1953: 12

Итак, и этот лингвист, где-то сходящийся с МФЯ в проблематике и, может быть, даже в чем-то повлиявший на написание этой книги, к 1928–1929 гг. был далек от ее идей. В отечественной науке авторам книги было не на кого опереться. «Индивидуалистический субъективизм», отмеченный в МФЯ у школы Потебни, уже был в прошлом, а наиболее нелюбимый ими «абстрактный объективизм» решительно господствовал. Все ссылки в книге на отечественных авторов – либо критические, либо чисто информационные, либо относятся к частностям.

В заключение раздела отмечу, что идеи Якубинского, до недавнего времени забытого даже на своей родине, сейчас все более привлекают внимание, в том числе и зарубежных исследователей. На проходившем в июле 2002 г. в Кре-Берар (Швейцария) коллоквиуме по советской науке 20–30-х гг. сразу два доклада были специально посвящены Л. П. Якубинскому, в том числе говорилось и о его влиянии на Бахтина. Один из докладов был сделан К. Брандистом, который в недавней публикации пишет о том, что готовит особую статью о влиянии идей Якубинского на концепцию речевых жанров у Бахтина в 50-е гг.<sup>92</sup>

#### 1.2.4. Круг Бахтина и В. В. Виноградов

Среди ученых, к идеям которых, так или иначе, были равнодушны Бахтин и люди его круга, необходимо обратить внимание и на уже упоминавшегося Виктора Владимировича Виноградова.

Отношение Бахтина к этому человеку составляет некоторую загадку. Как уже было сказано, неизвестно, встречались ли они когда-нибудь до 1949 г. Но они могли быть лично знакомы и в 1916–1918 гг., когда оба жили в Петрограде, и во второй половине 20-х гг., когда они жили в Ленинграде и были связаны с одними и теми же людьми, включая В. Н. Волошинова и П. Н. Медведева. Впрочем, о личных контактах Волошинова и Виноградова известно ненамного больше. Достоверно лишь одно: Виноградов был в числе преподавателей, у которых Волошинов учился в 1922–1924 гг. в университете. Контактывали ли они позже, неизвестно. Н. Л. Васильев называет Во-лошинова «коллегой по работе» Виноградова,<sup>93</sup> исходя, по-видимому, из того, что Виноградов имел в ИЛЯЗВ аспирантов. Но об их каких-либо отношениях в ИЛЯЗВ пока ничего не известно.

Но и в работах круга Бахтина 20-х гг. и в более поздних сочинениях Бахтина чувствуется особое внимание к деятельности Виноградова, хотя чаще связанное с критическим к ней отношением. Бахтиноведы не раз отмечали, что этот ученый был оппонентом Бахтина и его круга на протяжении более чем четырех десятилетий: его критические оценки встречаются у Бахтина или Волошинова с 1924 по 1965 г.<sup>94</sup> Особенно подробно об этом особом отношении пишет Л. А. Гоготишвили в комментариях к лингвистическим работам Бахтина 50-х гг. Об этих комментариях я буду специально говорить в главе шестой, здесь лишь отмечу их «вино-градовский» аспект, в оценке которого (в отличие от ряда других аспектов) я с Л. А. Гоготишвили полностью согласен. Она указывает, что в текстах 50-х гг. Виноградов – главный оппонент даже там, где прямо не упоминается (а в наиболее законченных рукописях его имя ни разу не встречается). Л. А. Гоготишвили отмечает скрытые «антивиноградовские» мотивы в его неоконченных текстах и особенно в подготовительных материалах к ним,<sup>95</sup> а в «Проблеме речевых жанров» видит «виноградовскую призму», сквозь которую рассматриваются враждебные автору концепции [Гоготишвили 1996: 538].

<sup>92</sup> Brandist 2004: 121

<sup>93</sup> Васильев 2000б: 305

<sup>94</sup> Махлин 2000: 592

<sup>95</sup> Гоготишвили 1996: 540

Конечно, это уже 50-е гг. В это время Бахтин в Саранске не мог не сравнивать свою судьбу с судьбой Виноградова: эти судьбы, сходные в 30-е гг., к 50-м гг. сильно разошлись. Но особое отношение к Виноградову чувствуется в 20-е гг. и в волошиновском цикле, и в «Проблемах творчества Достоевского». Как раз этот ученый, в те годы далеко не самый именитый в наших филологических кругах (хотя известный намного больше, чем весь круг Бахтина, и уже опубликовавший несколько книг), казался главным противником. В. В. Колесов высказывает удивление и не находит «разумных объяснений» в связи с тем, что «не входивший в круг записных формалистов» Виноградов постоянно критиковался Бахтиным (в число работ которого отнесен и волошиновский цикл).<sup>96</sup> Но, как справедливо отмечает Л. А. Гогтишвили, Виноградов, может быть, и не самый враждебный, но самый «затрагивающий» из оппонентов Михаила Михайловича; он постоянно оказывается близок по тематике и далек по теоретическим установкам.<sup>97</sup>

Вернемся к отнесению Виноградова в МФЯ к последователям Женевской школы. Сейчас, когда можно рассмотреть весь творческий путь этого выдающегося русиста, неправомочность такой трактовки особенно очевидна. В историю отечественной науки Виноградов, как я уже писал,<sup>98</sup> вошел прежде всего как хранитель традиций русской дореволюционной науки. К структурализму он в целом относился отрицательно, особенно в публикациях 50—60-х гг. Об этом свидетельствуют и воспоминания о Викторе Владимировиче, см..<sup>99</sup>

Позволю к этому добавить и свои личные воспоминания. Я в 1963–1968 гг., то есть в последние годы жизни Виноградова, учился на отделении структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. Тогда это был ведущий центр «новой» лингвистики, основанной на структурных методах (хотя на Западе эпоха структурализма как раз к этому времени завершилась). «Традиционная» наука о языке, господствовавшая на других отделениях факультета, там оценивалась крайне низко. И чуть ли не главным ее олицетворением казался академик Виноградов, заведовавший кафедрой русского языка на факультете (сказывались, конечно, и неприязненные личные отношения между ним и заведующим кафедрой структурной и прикладной лингвистики В. А. Звезгинцевым). На нашей кафедре существовал некий «антикульт» личности Виноградова, как я сейчас понимаю, во многом несправедливый. Академик не оставался в долгу. Помню, как, представляя в апреле 1968 г. заместителю декана М. Н. Зозуле незнакомого молодого человека, он сказал: «Вот наш новый аспирант из Венгрии. К счастью, не по структурным методам». Вообще для последовательных советских структуралистов тех лет Виноградов был таким же главным противником, как для круга Бахтина, только их отношение к академику не выражалось в печати. Иными, однако, были и их позиции (очень последовательный «абстрактный объективизм»), и причины такого отношения (сказывалось высокое официальное положение Виноградова, как бы олицетворявшего «казенную науку»). В 80—90-е гг. некоторые из этих ученых стали относиться к уже покойному Виноградову намного лучше.

Конечно, в конце 20-х гг. это все еще было в будущем. Однако и в 20-е гг. публикации Виноградова вряд ли позволяли видеть в нем более строгого последователя Соссюра, чем, скажем, в Л. В. Щербе. Впрочем, у него и тогда, и даже позже было заметно некоторое влияние Женевской школы, особенно Шарля Балли. Например, его получившая значительное распространение в отечественной науке классификация фразеологизмов представляет собой пересадку на русскую почву соответствующих идей Балли, что показал И. Е. Анич-

<sup>96</sup> Колесов 2003: 368

<sup>97</sup> Гогтишвили 1996: 540

<sup>98</sup> Алпатов 1998а

<sup>99</sup> Макаев 1992

ков.<sup>100</sup> Как будет отмечено во второй главе, авторы МФЯ заинтересовались идеями Соссюра через знакомство с идеями его последователя Ш. Балли, а имя последнего, весьма вероятно, они узнали благодаря его упоминанию у Виноградова. Отсюда, видимо, и представление о Виноградове как последователе Женевской школы. Отмечается в волошиновском цикле («О границах поэтики и лингвистики») и влияние на Виноградова идей не очень популярного в нашей стране А. Сеше,<sup>101</sup> книги которого переведены на русский язык лишь сейчас.<sup>102</sup>

Обвинения в сосюрианстве, впрочем, предъявлялись Виноградову и позже. В 1948–1949 гг. он был в числе ученых, подвергшихся травле со стороны представителей марристского лагеря. Один из последних, В. А. Аврорин (в целом – серьезный лингвист, видный исследователь тунгусо-маньчжурских языков и автор лучших в 60–70-е гг. у нас работ по социолингвистике) назвал Виноградова «проповедником реакционных идей де Соссюра».<sup>103</sup> Для того времени это было еще менее оправдано, чем для конца 20-х гг.

Кстати, не было ли это выступление навеяно формулировкой МФЯ? В. А. Аврорин, в 1929 г. студент-лингвист ЛГУ, мог эту книгу помнить.

В МФЯ имя Виноградова, помимо упомянутого выше включения в число «абстрактных объективистов», встречается еще дважды (оба раза в третьей части). Эти упоминания связаны с частными проблемами и не содержат критики. В книге Виноградова об Ахматовой отмечены «интересные замечания о диалоге полулингвистического характера» (332). Виноградов упомянут и как один из исследователей проблемы роли рассказчика в художественной прозе (338); в одном ряду с ним, в числе других, стоит и Шарль Балли. Несомненно, Виноградов в МФЯ представлен как серьезный представитель «абстрактного объективизма», заслуживающий внимания в связи с частными вопросами, где у него могут быть «интересные замечания», но порочный по методу.

Но Виноградов в пределах волошиновского цикла упомянут не только в МФЯ. Именем Волошинова подписана рецензия на книгу Виноградова «О художественной прозе».<sup>104</sup> В том же 1930 г. появилась и статья «О границах поэтики и лингвистики», в значительной степени посвященная критике концепции Виноградова, содержащейся в разных его публикациях. Об этих работах специально будет говориться в пятой главе. Здесь отмечу лишь общее отношение к Виноградову. Точка зрения здесь та же, что в МФЯ, но оценки резче. В статье подход Виноградова назван «глубоко антиисторичным и антисоциологичным».<sup>105</sup> Но этот порочный подход – не личное свойство автора, а «первородный грех» всей лингвистики.<sup>106</sup> Сам же Виктор Владимирович назван «одним из наиболее тонких и осторожных аналитиков»,<sup>107</sup> «талантливым лингвистом с большим научным кругозором, эстетическим вкусом».<sup>108</sup> То есть опять-таки крупный представитель враждебного подхода. Те же оценки и в короткой (две страницы в журнале) отрицательной рецензии.

Неоднократно упомянут Виноградов и в «Проблемах творчества Достоевского». Здесь, безусловно, два автора соприкасались по тематике: Виноградов тоже писал о стиле и языке Достоевского. Оценки Виноградова в этой книге, изданной под именем Бахтина, те же, что в волошиновском цикле, хотя без резкости двух последних публикаций. Это, разуме-

<sup>100</sup> Аничков 1997: 429–431

<sup>101</sup> Бахтин 2000: 489

<sup>102</sup> Сеше 2003а, б

<sup>103</sup> ИЛЯ 1949, 1: 90

<sup>104</sup> Волошинов 1930а

<sup>105</sup> Бахтин 2000: 498

<sup>106</sup> Бахтин 2000: 499

<sup>107</sup> Бахтин 2000: 489

<sup>108</sup> Бахтин 2000: 499

ется, не свидетельствует ни в пользу общего авторства, ни против него, но показывает общность оценок в круге Бахтина. Как и в МФЯ, интересными признаются некоторые частные наблюдения Виноградова, но общая оценка отрицательна: «Вообще оставаясь в пределах формально-лингвистической стилистики, к собственному художественному заданию стиля подойти нельзя. Ни одно формально-лингвистическое определение слова не покрывает его художественных функций в произведении. Подлинные сти-леобразующие факторы остаются вне кругозора В. В. Виноградова».<sup>109</sup> Отмечу, что в новом варианте книги о Достоевском, вышедшем в 1963 г., еще при жизни Виноградова, основные оценки сохраняются, но в добавлениях тон заметно смягчается.

Другая же сторона – В. В. Виноградов – о своих оппонентах отзывалась мало. Бахтина он упоминал лишь изредка, а имя Волошинова он, по данным досконально изучавшего этот вопрос Н. Л. Васильева, упомянул всего один раз, лишь попутно и в одном ряду с М. М. Бахтиным и П. Н. Медведевым.<sup>110</sup> Тот же Н. Л. Васильев находит следы скрытой полемики с МФЯ в статье о стиле «Пиковой дамы» (над которой Виноградов работал в самый момент ареста в феврале 1934 г. и которую он заканчивал в ссылке<sup>111</sup>), однако прямо книга там не названа.

Хватает, конечно, устных рассказов, иногда попадающих в печать. Отметим упоминание Виноградова среди лиц, распространявших версию о Бахтине как единственном авторе волошиновского цикла.<sup>112</sup>

Но вот документ: изданная Н. А. Паньковым<sup>113</sup> стенограмма заседания Высшей аттестационной комиссии (ВАК) от 21 мая 1949 г., где обсуждали диссертацию М. М. Бахтина о Рабле и где среди других выступал Виноградов. Это краткое выступление Виноградова уже служило предметом анализа [Васильев 2000б: 304–306].

Для обоих интересующих нас ученых май 1949 г. не был легким периодом. У Бахтина уже третий год тянулось отвлекавшее его от других занятий дело об утверждении в докторской степени, которая в итоге так и не была ему присуждена. На заседании обстановка для него не была благоприятна, хотя тогда еще не произошло окончательного отказа в присуждении степени доктора (в результате обсуждения работа была отдана автору на доработку). А для Виноградова, тогда уже академика, в разгаре была разгромная критика со стороны марристов. Как рассказывала мне в 1989 г. его вдова Надежда Матвеевна, тогда он всерьез боялся, что ему в третий раз принудительно придется покинуть Москву (этого не произошло, наоборот, через год по воле Сталина он стал во главе филологических наук СССР). Такая ситуация наложила отпечаток на поведение академика на заседании: даже из стенограммы видно, что он, с одной стороны, хочет помочь Бахтину, а с другой стороны, вынужден соблюдать ос-торожность. Среди выступавших более активно, чем Виноградов, защищал диссертанта лишь И. Э. Грабарь.

Речь Виноградова, несомненно, хорошо продумана. Заявляя в духе времени: «Неправильна мысль о влиянии Рабле на Гоголя. Эта мысль... получила хождение в буржуазном литературоведении», – он тут же смягчает оценку: эту мысль «Бахтин немножко... изменил, признав влияние народной литературы. Но это входит (в диссертацию. – В. А.) как побочный эпизод».<sup>114</sup> Диссертант охарактеризован как «человек очень большой культуры, очень

<sup>109</sup> Бахтин 1929: 168

<sup>110</sup> Виноградов 1963: 102

<sup>111</sup> Васильев 1998: 537; 2000а: 48

<sup>112</sup> Бочаров 1993: 73; Иванов 1995: 134

<sup>113</sup> Паньков 1999: 68–74

<sup>114</sup> Паньков 1999: 73–74

больших знаний, ну, необыкновенно талантливый, но, как видите, очень больной»<sup>115</sup> (слова «как видите» — явный намек на отсутствие у Бахтина ноги). В речи особо отмечена положительная рецензия А. В. Луначарского на книгу Бахтина о Достоевском.

Одна формулировка речи загадочна: «Бахтин — почти мой товарищ по Ленинградскому университету».<sup>116</sup> На нее обращали внимание и публикатор, и комментатор выступления.<sup>117</sup> Однако ни тот ни другой не смогли объяснить значение слов «почти товарищ». Я тоже не берусь это сделать. Версия о Виноградове как «товарище Бахтина по Петербургскому (!) университету» уже появляется в печати,<sup>118</sup> но не имеет подтверждения. Виноградов кончал в Петрограде не университет, а Историко-филологический институт и Археологический институт (оба в 1917 г.). В университете же он только преподавал в 1920–1929 гг. (часть времени внештатно) до переезда в Москву. В эти годы Бахтин там не учился и не работал. Зачем вообще академику было вспоминать о старой дружбе с провинциальным диссертантом? Может быть, Виноградов, откуда-то (откуда?) зная об отсутствии у Бахтина высшего образования, хотел дополнительно подтвердить этими словами его наличие? А может быть, объявляя о своем знакомстве с ним, академик хотел как-то воздействовать в его пользу на членов ВАК? Кто знает?

Настрой большинства членов ВАК был явно недоброжелательным. Видя это, Виноградов предложил компромиссный вариант: не присуждать Бахтину докторскую степень, но дать звание профессора (для преподавателя провинциального вуза это было важнее). А когда этот вариант не прошел, он согласился с мнением большинства отдать диссертацию автору на доработку. И все равно он закончил речь словами: «Сам Бахтин заслуживает некоторого снисхождения и поощрения».<sup>119</sup> Он, конечно, не мог забыть критику по своему адресу в похваленной Луначарским книге. А если он считал, что Бахтин стоял за спиной Волошинова, отозвавшегося о нем еще резче, то он не мог не считать себя обиженным этим вдруг возникшим из небытия человеком. И тем не менее Виноградов, сам находившийся в 1949 г. в трудном положении, подал руку Бахтину, которому было еще тяжелее.

О сопоставлении научных взглядов Бахтина и Виноградова уже существует несколько публикаций.<sup>120</sup> Но совсем не изучен вопрос о сопоставлении двух столь ярких личностей, как Михаил Михайлович Бахтин и Виктор Владимирович Виноградов. Этот вопрос я выношу в отдельный Экскурс 1.

Последнее, на что хочется обратить внимание. В беседах Бахтина с Дувакиным имя Виноградова не встречается ни разу. Вряд ли это случайно.

### 1.2.5. Круг Бахтина и Н. Я. Мирр

В заключение надо рассмотреть вопрос об отношении авторов МФЯ к Н. Я. Марру и его учению. Во время написания книги и примыкающих к ней работ это учение еще не стало непререкаемой догмой, но уже было настолько влиятельным, что его нельзя было игнорировать. Особенно последнее обстоятельство сказывалось в Ленинграде, где жили и авторы МФЯ, и сам академик Марр. Если в Москве даже в 1932 г. могла выйти упоминавшаяся выше брошюра П. С. Кузнецова против марризма, то в Ленинграде к 1928–1929 гг. спорить с мар-

<sup>115</sup> Паньков 1999: 73

<sup>116</sup> Паньков 1999: 73

<sup>117</sup> Паньков 1999: 116; Васильев 2000б: 302—303

<sup>118</sup> Колесов 2003: 368

<sup>119</sup> Паньков 1999: 74

<sup>120</sup> Перлина 1995; Большакова 1999

ризмом или совсем его игнорировать было уже очень трудно. Подробнее об обстановке тех лет в этом аспекте см.<sup>121</sup>

Некоторые авторы причисляют МФЯ к марристской литературе. Так делает, например, автор вышедшей во Франции книги об истории марризма.<sup>122</sup> Другая исследовательница марризма пишет, что хотя В. Н. Волошинов находился вне «кружка Н. Я. Марра», но «выглядел поддерживавшим марровские стремления».<sup>123</sup> Аргумент она приводит один: Во-лошинов, как и марристы, интересовался проблемой социальной природы человеческого мышления, а не эмпирическими фактами. Заканчивается этот абзац словами о «горьком капризе истории»: Во-лошинов, поддерживавший марризм, был уничтожен, как и его противники,<sup>124</sup> хотя к 1993 г. обстоятельства его смерти уже были известны.

Если в данном случае очевидно недостаточное знание фактов, то несколько странно читать у покойной Н. А. Слюсаревой, много занимавшейся историей советской лингвистики, о том, что статья «Новейшие течения лингвистической мысли на Западе» (сокращенный вариант МФЯ) написана «с позиций яфетической теории».<sup>125</sup> Аргументов нет.

Интерес к социальному в языке и невнимание к эмпирике—критерии очень уж общие. Надо реально посмотреть, что есть в МФЯ от Марра.

Казалось бы, можно найти один реальный аргумент в пользу принадлежности МФЯ к марризму. Выше говорилось, что в этой книге нет положительных оценок советских лингвистов (кроме оценок по очень частным вопросам). Но есть одно исключение: Н. Я. Марр. Он упомянут в книге трижды и всегда в положительных контекстах. Но что это за оценки?

В раннем варианте МФЯ, «Отчете» Волошинова (см. о нем в следующей главе), имя Марра не встречается. Учитывая атмосферу ленинградской лингвистики тех лет с уже сложившимся культом Марра, можно с большой долей вероятности предположить, что среди не дошедших до нас замечаний при обсуждении «Отчета» было и указание на «неучет» теории академика. Это тем более правдоподобно потому, что в обсуждении участвовал Л. П. Якубинский, в это время увлекавшийся этой теорией. Но что обычно делают, если необходимо упомянуть авторитетное, но «чужое» имя? Идут чаще всего двумя путями: либо находят у авторитета какое-то близкое своим идеям высказывание, пусть фигурирующее совсем в ином контексте, либо упоминают его заслуги в той области, где они признаны, пусть эта область выходит за рамки исследования. Все три случая упоминания Марра в МФЯ укладываются в эту схему.

Первый раз Марр упомянут в связи с разбиравшимся выше тезисом о филологизме как определяющей черте «абстрактного объективизма» с самого его возникновения. Вслед за словами о «свирели, пробуждающей мертвых», сказано: «Совершенно справедливо на эту филологическую сущность индоевропейского лингвистического мышления указывает акад. Н. Я. Марр» (286). Далее идут две цитаты из Марра с резкими оценками «индоевропейской лингвистики», исходящей «от окаменелых форм письменных языков», затем заключение: «Слова академика Н. Я. Марра справедливы, конечно, не только по отношению к индоевропеистике... но и относительно всей лингвистики, какую мы знаем в истории» (287).

Очевидно, что авторы МФЯ специально искали в трудах академика что-то близкое себе и нашли. Исходя из совсем других посылок, Марр тоже выступал против филологизма, уклона в изучение мертвых, а не живых языков. Цитаты в данном случае не противоречили идеям МФЯ (хотя этого совпадения, конечно, недостаточно для сближения книги с марриз-

<sup>121</sup> Алпатов 1991: 79—111

<sup>122</sup> L'Hermitte 1987: 28

<sup>123</sup> Bruehe-Schulz 1993: 456

<sup>124</sup> Bruehe-Schultz 1993: 456

<sup>125</sup> Слюсарева 1998: XV

мом). Но последнее замечание об индоевропеистике показывает как раз малое знакомство авторов книги с марристской терминологией. Обычно индоевропеистикой называют сравнительно-историческое изучение языков индоевропейской семьи. Таким естественным образом поняли Марра и авторы МФЯ: разумеется, индоевропеистика в этом смысле «задавала тон» в языкознании времен младограмматиков, но к ней не могла сводиться лингвистика всех времен и народов. Но Марр, а вслед за ним его последователи уничижительно называли «индоевропеистикой» любую науку о языке, кроме собственного «нового учения». Для человека, находившего «внутри» марристского цеха, сделанное в МФЯ уточнение было бы излишним, но авторы МФЯ его сделали именно потому, что марристами не были.

Второе упоминание Марра – там, где речь идет об освоении чужого, иноязычного слова и скрещении его со своим. В связи с этим всплывает термин «скрещение языков», один из любимых у Марра. Далее идет: «Идея языкового скрещения, как основного фактора эволюции языков, со всей отчетливостью была выдвинута акад. Н.Я. Марром. Фактор языкового скрещения был признан им как основной и для разрешения проблемы происхождения языка» (291). Далее идут две цитаты из Марра, одна о скрещении, другая о происхождении языка (в отличие от высказываний о филологизме, в которых есть какой-то смысл, в этих двух цитатах современному читателю трудно найти что-либо хоть минимально разумное). Затем вывод: «Здесь мы только намечаем значение чужого слова для проблемы происхождения языка и его эволюции. Сами эти проблемы выходят за пределы нашей работы... Мы отвлекаемся здесь... от особенностей первобытного мышления чужого слова» (292).

В третий и последний раз о Марре говорится в связи с разграничением значения и темы в последней главе второй части книги. Приводится гипотеза Марра о том, что в самую древнейшую эпоху «в распоряжении племени было только одно слово для применения во всех значениях, которые только осознавало человечество». Вывод: «Относительно всезначашего слова, о котором говорил Н.Я. Марр, мы можем сказать следующее: такое слово, в сущности, почти не имеет значения: оно все – тема... Здесь тема, таким образом, поглощает, растворяет в себе значение, не давая ему стабилизироваться и хоть сколько-нибудь отвердеть» (319).

В двух последних случаях, несомненно, имя академика Марра упоминается в связи с его славой как крупнейшего специалиста в области «языковой доистории», происхождения языка и первобытного языка. Поскольку этими проблемами мало кто всерьез занимался, то очень многие принимали марровские безапелляционные утверждения на веру. Вряд ли здесь авторы МФЯ, также не занимавшиеся этими проблемами, составляли исключение. Второе упоминание – чистое «украшательство» книги: мы говорим о «скрещении», Марр тоже говорит о «скрещении», но о скрещении в эпоху происхождения языка, которой мы не занимаемся. Третий случай сложнее. Здесь единственный раз можно говорить о каком-то использовании марровских идей. Разграничение двух некоторых понятий (в данном случае – значения и темы) часто ставит вопрос: существует ли предельный случай, когда два понятия совпадают? И здесь марровское «всезначашее слово» далекого прошлого, существование которого нельзя было ни доказать, ни опровергнуть<sup>126</sup> могло дать пример такого совпадения. Это могло показаться интересным. Но конечно, одного этого явно периферийного для книги рассуждения недостаточно для отнесения МФЯ к марризму.

Разумеется, в книге нет прямой полемики с марризмом. В большинстве случаев она была и не нужна: книга о другом. Однако в обстановке того времени авторы были вынуждены ритуально поклониться Марру, найдя при этом способ сделать это, не поступившись принципами. В конце жизни Бахтин, по свидетельству С. Г. Бочарова, называл марксистскую проблематику МФЯ «неприятными добавлениями».<sup>126</sup> О марксизме речь еще впереди.

<sup>126</sup> Бочаров 1993: 71

А упоминания Марра (кроме, может быть, последнего) явно имели характер «неприятных добавлений».

И в то же время в самом начале МФЯ, во введении, есть скрытый выпад против марризма. «Единственной марксистской работой, касающейся языка», названа книжка о происхождении речи и мышления<sup>127</sup> (217); впрочем, и она оценивается явно невысоко, а ее проблематика признается далекой от задач МФЯ. Само по себе имя И. И. Презента любопытно. Этот автор сейчас если и известен, то как «теоретик», состоявший в 30—40-е гг. при Т. Д. Лысенко. Это был профессиональный «методолог», занимавшийся созданием «марксистской науки» в любой области. В лингвистике ему, однако, не повезло: марристы не признали его «своим». <sup>128</sup> Ему пришлось перекалфицироваться на биологию, где итог оказался также неудачным, но это выяснилось значительно позже.

Но главное было в том, что формулировка об отсутствии марксистских работ о языке означала непризнание марксистскими многочисленных к тому времени работ самого Марра и его последователей, получивших название «подмарков». Вероятно, марристы заметили это место в книге (тем более что предисловия и введения традиционно читают внимательнее, чем все остальное). И это могло послужить одной из причин отрицательного отношения к книге со стороны марристов, о котором будет говориться в пятой главе. Ритуальные похвалы Марру значили гораздо меньше, чем отказ считать его марксистом.

В заключение раздела надо сделать одно уточнение. В марровский лагерь в те годы входили не только малокультурные «подмарки», но и серьезные, ищущие ученые. И у них, особенно у В. И. Абаева, также можно найти идейную перекличку с МФЯ, вовсе не обязательно под прямым влиянием книги. Этот вопрос еще будет рассмотрен в пятой главе. Но безусловно, от марризма авторы МФЯ были далеки.

Из всего сказанного выше можно сделать один вывод. Авторы МФЯ были одиноки и в советской, и в мировой лингвистике. Ближе всего к ним была школа К. Фосслера, в исторической перспективе уже ушедшая со сцены. Книга была маргинальной для лингвистики того времени, а ее авторы были маргиналами в советской лингвистике, пришедшими в лингвистику извне. Их научные и личные связи с современными им лингвистами были незначительны, а идеи этих лингвистов отвергались или игнорировались авторами МФЯ.

---

<sup>127</sup> Презент 1928

<sup>128</sup> Аптекарь, Быковский 1931: 37

## Экскурс 1

# БАХТИН И ВИНОГРАДОВ. ОПЫТ СОПОСТАВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТЕЙ

Михаил Михайлович Бахтин и Виктор Владимирович Виноградов являлись одними из наиболее известных и значительных русских ученых-гуманитариев своего поколения. В то же время характеры у них были разные. Даже попадая в сходные обстоятельства, два ученых часто вели себя по-разному. Хочется сопоставить их просто как две личности (вопрос об их научных и человеческих взаимоотношениях специально разбирался в первой главе). По жанру статья несколько похожа на статью,<sup>129</sup> где сопоставляются личности Бахтина и Якобсона.

В биографиях Бахтина и Виноградова много сходного. Они принадлежали к одному поколению и даже были ровесниками: Виноградов родился (по новому стилю) в начале, а Бахтин – в конце 1895 г. Оба происходили из интеллигентных, но не дворянских семей. Оба формировались как специалисты (Виноградов всецело, а Бахтин лишь отчасти) в Петрограде предреволюционных и послереволюционных лет, имея частично сходный круг учителей и знакомых. Оба жили в Ленинграде второй половины 20-х г. и были связаны с одними и теми же учреждениями вроде Института истории искусств (Зубовского). Оба в 20-е г. были «внештатными за неблагонадежность» (используя приведенное выше высказывание Р.Якобсона о Виноградове), а в период «культурной революции» подверглись репрессиям, хотя и в несколько разное время: Бахтин с декабря 1928 г., Виноградов с февраля 1934 г. Оба испытали тюрьму, ссылку, жизнь с «минусом», но обоим судьба уберегла от лагеря. Оба в 1937–1938 гг. подверглись новым нападкам «за допущение в преподавании буржуазного объективизма» (формулировка, примененная тогда к Бахтину в Саранске), но избежали новых несчастий. Оба умерли в Москве в пожилом возрасте (Бахтин пережил Виноградова на пять с половиной лет), получив при жизни широкую известность. Обоим повезло с женами: и Елена Александровна Околович-Бахтина, и Надежда Матвеевна Малышева-Виноградова всю жизнь помогали мужьям в самых тяжелых обстоятельствах (хотя людьми они были разными: Елена Александровна не имела профессии и посвятила жизнь мужу, а Надежда Матвеевна была самостоятельной женщиной, видным музыкальным педагогом). У обоих не было детей. Оба имели преданных учеников, чья помощь много значила в нелегкие годы их жизни.

К обоим может быть применена формулировка из статьи памяти Виноградова, написанной одним из его учеников: «Его жизненный путь был неровным, колеблясь от драматических затруднений до вершин научной и общественной славы».<sup>130</sup> Однако если «драматические затруднения» у обоих были сходными, то вершины научной и особенно общественной славы оказались у них существенно разными.

В весьма разных характерах двух ученых можно найти и некоторые сходные черты. Оба отличались огромной работоспособностью и просто не умели не работать. У обоих эта черта резко выявилась в ссылке, когда и того и другого в гнусных жизненных условиях спасала работа. Оба привлекали к себе людей, но в свои зрелые годы почти не имели друзей и держали собеседников на некотором расстоянии. Об обоих вспоминают как о блестящих лекторах, хотя в силу жизненных обстоятельств Бахтин имел меньше возможностей, чем Виноградов, реализовать свое умение выступать.

---

<sup>129</sup> Тодоров 2003

<sup>130</sup> Костомаров 1971: 12—13

Я уже отмечал значительное пересечение исследовательских интересов Бахтина и Виноградова. Это хорошо известно литературоведам, но важно подчеркнуть, что оно было и в лингвистике. Взгляды их были разными, но в одном они все-таки сходились, пусть в негативном плане. Оба в конечном итоге не приняли влиятельнейшую научную парадигму двух первых третей XX в., проявившуюся в лингвистике в структурализме, в литературоведении в формальном методе. Как известно, в волошиновском цикле как раз Виноградов представлен как чуть ли не главный в нашей стране представитель данной парадигмы, что трудно считать объективной оценкой. Максимализм авторов МФЯ заставлял их игнорировать различия между «формалистами» и Виноградовым, однако в 50—60-е гг. такое различие Бахтин, безусловно, проводил. Конечно, и в волошиновском цикле, и в поздних сочинениях Бахтина антиструктурализм радикальнее, но и Виноградов, используя отдельные исследовательские приемы структурализма и формальной школы, никогда не присоединялся к ним.

И все-таки людьми Бахтин и Виноградов были совершенно разными. Именно это несходство характеров стало причиной того, что их судьбы, имевшие сходство в 20-е и особенно в 30-е гг. (хотя у Виноградова не было ни Невеля с Витебском, ни чего-то хоть отдаленно похожего на круг Бахтина), решительно разошлись после войны. Различия характеров видны и в их поведении в похожих ситуациях, и в памяти, которую они о себе оставили, и в самих их сочинениях.

Многое показывают самохарактеристики обоих ученых, дошедшие до нас. Для Бахтина это прежде всего записи бесед с В. Д. Дувакиным, неоднократно упоминаемые в этой книге. Рассказы Бахтина часто недостоверны в отношении фактов его биографии, но характер и мировоззрение Михаила Михайловича в последние годы жизни отражены там ярко и достоверно. Для Виноградова это хранящиеся в Архиве РАН 359 очень откровенных его писем 1934—1936 гг. Надежде Матвеевне из вятской ссылки. Они лишь в небольшой части опубликованы А. Б. Гуськовой.<sup>131</sup>

При всех довольно значительных точках пересечения тематики их научные интересы все-таки во многом различались, как и само отношение к творческому процессу. Бахтин, долгое время у нас рассматривавшийся как литературовед, рассматривал себя прежде всего как философа. Так он и заявил В. Д. Дувакину: «Я – философ. Я – мыслитель».<sup>132</sup> Его первые сочинения 20-х гг. были чисто философскими, а под конец жизни, по воспоминаниям С. Г. Бочарова, Михаил Михайлович смотрел на свою жизнь как на неудачу, поскольку «не мог в свое время пофилософствовать всласть».<sup>133</sup> Любая его мысль, любая тема хотя бы в подтексте имеет выход в высокую философию (что, однако, не означает, что она одновременно не может относиться к лингвистике или к литературоведению). Виноградов же при достаточно широкой тематике исследований философом отнюдь не был. Если исходить из принятой у нас номенклатуры ВАК, то его интересы уместались в рамках филологических наук; имевшаяся у него степень доктора этих наук точно их отражала (чего нельзя сказать о кандидате филологических наук Бахтине). О философских взглядах Виноградова говорить вообще довольно сложно, хотя несомненна его склонность к умеренному позитивизму, в традициях которого он воспитывался.

Как-то с этим, возможно, было связано и разное отношение двух ученых к религии. Бахтин, как известно, всю жизнь был религиозен, хотя и далек от официальной церкви. Беседы с Дувакиным это подтверждают. И ничего похожего у сына священника Виноградова. В письмах из вятской ссылки ничего о Боге, а Пасха и Первое мая – в равной степени

<sup>131</sup> ВРАН 1995, 1

<sup>132</sup> Беседы 1996: 42

<sup>133</sup> Бочаров 1993: 83

поводы посмеяться над идиотизмом окружавшей его мещанской среды, особенно ярким в праздники.

Мыслитель Бахтин вообще невысоко ставил профессионализм. Разумеется, он не отрицал необходимости владеть специальностью, но это для него не было главным. Дувакину он говорил, что из окружавших его людей он больше всего уважал тех, кто, как М. В. Юдина, вырывался за рамки профессии.<sup>134</sup> Говоря о друге юности своего брата – Н. Э. Радлове, получившем в советское время известность в качестве художника-карикатуриста, он оговаривал: «Конечно, это не было главное в нем».<sup>135</sup> И ОПОЯЗ он не признавал, в том числе и потому (а может быть, прежде всего потому), что там занимались специальностью и не было главного – «очень глубокого... весело-критического отношения ко всем явлениям жизни и современной культуры».<sup>136</sup> Вообще, вероятно, замыкание в узком кругу проблем своей специальности, будь то лингвистика или поэтика, отталкивало его от структурализма и формальной школы. Недаром одно из главных обвинений структурализма в МФЯ – в ограничении объекта исследования, в обрыве связей лингвистики со всем остальным. Надо думать, такое ограничение не могло быть близко и Бахтину как человеку.

И все иначе у Виноградова, именно профессионала-филолога по своей сути. В его вятских письмах – множество жалоб на московских и провинциальных коллег, деятельность которых он оценивал не выше, чем Бахтин. Но критикует он их совсем за другое: за недостаток профессионализма и знаний, за неумение анализировать тексты и т. д. В письмах жене Виноградов нередко рассуждал о научных проблемах, волновавших его в то время. Например, в одном из опубликованных писем Виноградов обстоятельно обсуждает проблему «Войны и мира» как произведения русско-французской языковой культуры: тогда он как раз писал статью о стиле Льва Толстого, затем опубликованную. Рассуждения интересны, но это конкретные проблемы конкретной работы ученого. Перехода на более общие темы, на «философствование», что постоянно у Бахтина в беседах с Дувакиным, нигде нет.

Различны и сочинения ученых. Ограничимся лингвистическими (включая волошиновский цикл). О чем бы ни говорилось и в этом цикле, и в поздних работах Бахтина, всегда речь идет об общей теории. Даже совсем, казалось бы, конкретная по теме статья о вопросах стилистики на школьных уроках связана с теорией языка. А конкретных примеров всегда немного, причем их анализ в целом значительно менее интересен, чем общие построения (подробнее об этом в тре-твей и шестой главах). И в истории лингвистики в МФЯ рассмотрены, прежде всего, глобальные вопросы: что такое язык, что такое речевое высказывание и т. д. И беглый суммарный анализ развития мировой науки от древних греков до современности гораздо ярче, чем сухой пересказ французских и немецких работ по несобственно-прямой речи.

И совсем иное впечатление производят лингвистические труды Виноградова. Обратимся, например, к самому капитальному из них – объемистой книге «Русский язык».<sup>137</sup> Объем книги, прежде всего, создается за счет огромного количества конкретных примеров. И невозможно не признать, что примеры умело подобраны и хорошо проанализированы. Этот анализ – главное достоинство книги. Большое место в ней занимает и изложение существующих точек зрения на те или иные проблемы, в этом отношении она очень информативна. А говорить об общетеоретической концепции автора нелегко. В целом эта концепция близка к Петербургской школе и особенно к Л. В. Щербе, но не везде она выражена последовательно и она постоянно тонет в частности. Недоброжелатели Виноградова говорили

<sup>134</sup> Беседы 1996: 237

<sup>135</sup> Беседы 1996: 52

<sup>136</sup> Беседы 1996: 54

<sup>137</sup> Виноградов 1947—1972

об «эkleктике» и «пасьянсе чужих мнений». Тут было немало преувеличений, но все-таки надо сказать, что теоретиком лингвистики Виноградов не был, хотя в 50—60-е гг. его в СССР многие воспринимали в этом качестве (такую репутацию он получил и в некоторых других странах, например в Японии). Отмечу и то, что ученый всегда занимался только одним языком – русским. Конечно, в любой стране мира наука о собственном языке как часть науки о собственной культуре исключительно важна. А Виноградов почти полвека был одним из крупнейших в мире специалистов по русскому языку, много знавшим, много читавшим (в том числе и зарубежную литературу по специальности, что тогда было не часто у наших русистов), обладавшим прекрасной языковой интуицией, помогавшей ему убедительно анализировать примеры. В изучении фактов русского языка он сделал очень много. В лингвистических текстах Бахтина 40—50-х гг. также почти все примеры взяты из русского языка, но от этого эти тексты не становятся сочинениями по русистике. Это работы по теоретической лингвистике.

Для мыслителя Бахтина, прежде всего, был важен процесс поиска истины. Он, как уже говорилось, умел выступать и читать лекции, не отказывался, особенно в молодости, от выступлений перед самой неблагоприятной аудиторией, но по-настоящему хорошо чувствовал себя лишь в кругу друзей и наедине с книгой и листом бумаги. В молодости, до ареста, атмосферой его жизни были многочасовые беседы в табачном дыму о мировых проблемах с узким кругом близких людей. Этот круг сложился в Невеле, потом с некоторыми изменениями сохранился в Витебске и Ленинграде. Затем жизнь развела Бахтина с друзьями, большинство из которых рано ушли. В Кустанае и Саранске он оказался совсем один (жена здесь не могла ему помочь), но оставался главный собеседник – сам Михаил Михайлович. В последние 15 лет он снова мог общаться с новым кругом участников застольных бесед все с тем же обязательным курением. Но характер бесед уже был другим: Бахтина окружали не близкие по возрасту друзья, а люди гораздо более молодого поколения. А публичности, стремления передать свои идеи широкому кругу людей у Бахтина никогда не было. Конечно, надо учитывать и его многолетнюю болезнь.

Как вспоминают его ученики по Саранску, «посетители... неизменно находили Михаила Михайловича за письменным столом с открытой книгой или журналом».<sup>138</sup> Это было его главное рабочее место. Все остальное, включая педагогическую деятельность, вызывалось лишь необходимостью зарабатывать на жизнь. И дело не только во внешних обстоятельствах. В Саранске Бахтин много лет заведовал кафедрой, но эти функции явно ему не были интересны. Сам он говорил: «Я. официальщину терпеть не могу».<sup>139</sup> Бахтина трудно себе представить в области ученого-администратора, даже в области, не сводимой целиком к «официальщине», скажем, в качестве руководителя коллективного труда с планами, отчетами, распределением обязанностей и пр. И это при том, что ряд сочинений, вышедших из круга Бахтина, видимо, как раз создавался коллективом с Михаилом Михайловичем в роли руководителя. Но атмосфера была другая!

А Виноградов был публичным человеком. Ему всегда была нужна аудитория, но не всякая, а такая, которая могла бы его оценить должным образом. В вятской ссылке он не стал хлопотать о возможности преподавать в местном пединституте, это ему не было интересно. Но ему было важно доносить свои идеи до публики. Как исследователь Виноградов, пожалуй, был даже большим одиночкой, чем Бахтин: вокруг него никогда не было такого круга близких друзей, в спорах с которыми вырабатывалась истина, как вокруг Михаила Михайловича. В молодости у него были близкие друзья, но среди них не было филологов. С людьми своей профессии его связывали либо чисто деловые отношения, либо отношения учителя

<sup>138</sup> Каркунов, Борискин, Естифеева 1995: 9

<sup>139</sup> Беседы 1996: 261

и ученика. Но зато он охотно брал на себя административные функции. Он много участвовал в коллективных трудах с формальным распределением обязанностей, сначала в качестве рядового сотрудника (Словарь Ушакова), а потом в качестве руководителя (Академическая грамматика). А с 40-х гг. – обязанности декана, директора института, академика-секретаря, главного редактора двух научных журналов и т. д. И в итоговой оценке деятельности Виноградова не меньшее место, чем научное творчество, занимает его научно-организаторская и общественная деятельность. Академический Институт русского языка заслуженно носит его имя.

Бахтин писал для себя и узкого круга друзей (и, может быть, для будущих поколений). В. В. Кожин писал, что «не было у него ни грана тщеславия».<sup>140</sup> Вряд ли он был совсем лишен честолюбия, но это было внутреннее честолюбие, самоуважение. Недаром под конец жизни он считал ее неудавшейся как раз тогда, когда слава его, наконец, нашла. Но внешнего честолюбия он был лишен.

Любопытна его оценка В. В. Маяковского в беседе с Дувакиным: «И вот он ухватил, значит, номер этого журнала и буквально ввелся в напечатанные его стихи. И тоже как-то чувствовалось, что он смакует свои собственные стихи, смакует больше всего именно тот факт, что они напечатаны. Вот! Вот он напечатан! Одним словом, это на меня произвело очень плохое впечатление. Но ведь нужно сказать так: все это свойственно всем людям, да, но как-то от Маяковского, который все-таки был фигурой карнавальной, следовательно, стоящей выше всего этого, я бы скорей ждал известного презрения к костюму и к напечатанию его стихов. А тут прямо противоположное: как маленький человек, он счастлив тем, что вот его опубликовали, хотя он давным-давно был известным человеком и печатался».<sup>141</sup>

Отсюда хорошо известны особенности работы Бахтина. По воспоминаниям С. Г. Бочарова, «он сам говорил о незавершенности как стиле своей работы – незавершенности внутренней и внешней».<sup>142</sup> Тот же Бочаров констатирует, что от ученого остались в основном разрозненные фрагменты и заготовки к трудам, «которые были обречены не быть написанными».<sup>143</sup> Он же отмечает в другой публикации: «От Бахтина – разрозненные фрагменты и тогда, когда он полностью издан. Оба главных больших философских труда начала 20-х годов – обширные, но фрагменты».<sup>144</sup> Начало 20-х гг. – самое начало деятельности Бахтина, но то же самое и значительно позже. Ни один из его значительных по объему лингвистических текстов 50-х гг. не доведен до конца. Многие работы, к которым автор потерял интерес, вообще не сохранились.

Отсутствие публикаций Бахтина между 1930 и 1963 гг. (кроме статьи о покупательных способностях колхозников и двух газетных рецензий на спектакли), видимо, объясняется не только внешними обстоятельствами. В его обстоятельствах другие вели себя иначе. И это не только Виноградов, но и, например, несоизмеримый по масштабу деятельности с Бахтиным или Виноградовым, но честный и знающий коллега Бахтина по Саранску Лев Михайлович Кессель; о нем см. специальную публикацию.<sup>145</sup> Он также попал в Саранский пединститут, имея «минус» (в отличие от Бахтина, он до того побывал и в лагере). И все годы жизни в Саранске он печатался в «Ученых записках» института. А Михаил Михайлович за четверть века издавался там один раз, причем уже на пенсии. Очевидно, что дело было не в невозможности публикации: у Бахтина не было желания и просто не было готовых текстов.

<sup>140</sup> Кожин 1988: 159

<sup>141</sup> Беседы 1996: 128

<sup>142</sup> Бочаров 1993: 86

<sup>143</sup> Бочаров 1993: 86

<sup>144</sup> Бочаров 1996: 7

<sup>145</sup> Алпатов 2001а: 164—171

А потом инициатива в публикациях исходила не от Бахтина, а от его молодых почитателей, более всего от В. В. Кожина. Бахтин не сопротивлялся, но активности не проявлял. С. Г. Бочаров свидетельствует, что ученый был «довольно отрешен» от этих изданий.<sup>146</sup> И возможно, отсутствие у Бахтина интереса к завершенности своих текстов и к их выходу на читателя может дать и ключ (разумеется, лишь гипотетический) к проблеме авторства «спорных текстов», об этом будет сказано в следующем экскурсе.

И совсем иначе был устроен Виноградов, который вел себя так, как это «свойственно всем людям», по мнению Бахтина. Вот два факта из времен ссылки. Узнав из письма, что его долго задерживавшаяся в издательстве книга «Язык Пушкина», наконец, вышла в свет, он от радости и волнения уже не мог в этот день работать. Совсем как Маяковский! А это была уже девятая его книга и вторая книга за время ссылки. У него возникла идея написать монографию о стиле Гоголя, но так и не нашлось издательства, которое взялось бы ее издать. В результате книга не была написана, Виноградов занялся другими темами. Как профессионал с широким кругом интересов, он не имел какой-то одной «выстраданной темы» и готов был писать сразу о многом, отдавая приоритет сюжетам, которые имели шанс быть скорее опубликованными. Конечно, надо учитывать положение ссылного, жившего лишь на издательские гонорары (вид заработка, недоступный для Бахтина в Кустанае), но очевидна и нацеленность на результат, а не на процесс научной деятельности. И научное наследие Виноградова совсем не такое, как у Бахтина: не фрагменты и заготовки, а книги, статьи, разделы в коллективных трудах. Большинство работ издано при жизни (и не только в благополучные, но и в самые трудные годы), а неопубликованные по разным причинам труды – в основном, вполне готовые к печати рукописи, сейчас большей частью уже увидевшие свет.

Многие, знавшие Виноградова в последние два десятилетия жизни, отмечают его равнодушие к чинам и званиям, которыми он долго был обделен, но затем получил компенсацию. И еще одно различие. Бахтин упрекает Маяковского, кроме всего прочего, за отсутствие «презрения к костюму». Все мемуаристы отмечают пренебрежение к быту у Михаила Михайловича, равнодушие к материальной стороне жизни. Постоянно куривший, малоподвижный из-за отсутствия ноги Бахтин, судя по всему, был достаточно неряшлив. А Виктора Владимировича вспоминают как человека исключительно аккуратного, любившего хорошо одеться, собирателя антиквариата.

Еще более важное различие наблюдалось в общественном поведении; оно, конечно, было связано с предыдущими различиями. Сейчас многие склонны несомненное бахтинское изгойство и аутсайдерство объяснять исключительно внешними причинами, давлением общественного строя. Однако думается, что немалую роль играли и многолетняя болезнь, и особенности характера Михаила Михайловича. Сопоставление его биографии с биографиями многих его современников, включая Виноградова, это подтверждает.

Уже установилось мнение о том, что неудача с публикацией статьи в журнале «Русский современник» окончательно показала Бахтину невозможность его легальной деятельности в советских условиях. Но все же одна-единственная неудача вряд ли могла значить столь много. Уже люди его круга вели себя иначе. Самый очевидный пример – П. Н. Медведев, которого не всегда печатали, но который всегда упорно боролся за право быть опубликованным и нередко это право реализовывал; это подробно описано в статье.<sup>147</sup> Биография Волошинова известна меньше, но несомненна его нацеленность на публикации во второй половине 20-х гг. (что случилось с ним в 30-е гг. – пока до конца не ясно). А Бахтину было и физически тяжело, и, главное, неинтересно обивать пороги в редакциях. Позже, как указал мне Н. А. Паньков, сохранилось несколько планов, проспектов предполагавшихся книг,

<sup>146</sup> Бочаров 1993: 96

<sup>147</sup> Медведев 1998

заявок в издательства, относящихся и к ленинградским, и к кустанайским, и к савёловским годам. Однако при первых трудностях Бахтин быстро сдавался. Ничего похожего на активность Виноградова: он добился того, что почти все написанное им в ссылке еще в довоенные годы вышло в свет.

Другая легенда о Бахтине – его полная отверженность после 1928 г., целиком будто бы обусловленная внешними обстоятельствами. Надо сказать, что ее распространению способствовал позже сам Михаил Михайлович. Он, например, говорил Дувакину, что не хлопотал о снятии «минуса», поскольку «это в то время было абсолютно бесполезно».<sup>148</sup> Но сравним его биографию с биографиями «подельников». Не все из них, правда, мне известны, но вот три достаточно известных человека: филолог-классик А. В. Болдырев, друг Александра Блока Е. П. Иванов, востоковед и византист Н. В. Пигулевская. Все трое к середине 30-х гг. добились возвращения в Ленинград. Двоим первым это, однако, может быть, укоротило жизнь, оборвавшуюся в блокаду. А Пигулевская (в отличие от Бахтина – активный участник кружка А. А. Мейера) жила еще долго, работала активно, а в 1946 г. (задолго до реабилитации) стала членом-корреспондентом АН СССР.

В том же 1946 г. академиком стал и Виноградов. Его последующие звания и награды известны. Кроме прочего, он был депутатом Верховного Совета РСФСР (от Горького, города, где он за семнад-цать лет до того провел несколько дней в тюрьме), а за упомянутую книгу «Русский язык» получил Сталинскую премию 1-й степени. Изгнанная отовсюду в 1950 г. О. М. Фрейденберг годом позже прислала Виноградову поздравление. В нем она выражала радость по поводу того, что книга, ранее объявлявшаяся «космополитической», получила Сталинскую премию. А ведь реабилитирован Виноградов будет еще лишь через тринадцать лет, всего на три года раньше Бахтина.

Безусловно, погруженный в свой внутренний мир и лишенный социальной активности Бахтин мало что делал для возвращения в Ленинград (где, кстати, до войны жили его мать и сестры, о которых мы очень мало знаем). После окончания срока ссылки он еще два года жил в Кустанае, сказав впоследствии Дувакину о причинах: «Чего мне менять один Кустанай на другой Кустанай».<sup>149</sup> Позже, в 1937 г. он пытался устроиться в Ленинграде или в Москве, но что-то не получалось. Возможную причину сам ученый назвал Дува-кину: «Вообще я враг вот этой всякой... активности и переписки, бумажной активности».<sup>150</sup> Потом Бахтин все же переехал на «101-й километр». Иногда напоминал о себе, выступая в ИМЛИ, делая иногда робкие попытки печататься, но активности по-прежнему не было. Защитить диссертацию его во многом уговорили оставшиеся старые друзья, прежде всего М. В. Юдина. А потом Михаила Михайловича, в общем, устроил Саранск, где во второй приезд его всерьез не преследовали и где он мог спокойно общаться с листом бумаги и книгами (которых, правда, не всегда хватало).

Очень показательно, что смерть Сталина здесь ничего не изменила. Упомянутый выше Л. М. Кессель уже в 1954 г. покинул Саранск и возвратился в Москву. А Бахтин остался в Саранске еще на долгие годы (конечно, надо учитывать, что к тому времени он потерял всех родственников в Ленинграде и Москве). Вероятно, он остался бы там навсегда, если бы не активность его последователей.

И насколько иначе вел себя Виноградов! Весь период ссылки ему хотелось только одного: поскорее вырваться из захолустья, несмотря даже на то что в Вятке, ставшей как раз тогда Кировом, он очень продуктивно работал. Шли хлопоты через жену и учеников. Как рассказывала мне Надежда Матвеевна, помогли В. В. Вересаев и М. А. Цявловский, убе-

<sup>148</sup> Беседы 1996: 213

<sup>149</sup> Беседы 1996: 209

<sup>150</sup> Беседы 1996: 213

дившие высокое начальство в необходимости участия Виктора Владимировича в подготовке Пушкинского юбилея. Три года ссылки сократили до двух. Виноградов, как и Бахтин, мог остаться на прежнем месте, освободившись лишь от обязанности отмечаться в НКВД, но для него это было немыслимо. Получив документ об окончании ссылки, он немедленно уехал из Кирова. Имея «минус», Виноградов прописался на «101-м километре» (в Можайске), но фактически без прописки жил в Москве у жены. У черного хода висело пальто на случай, если нагрянет милиция.<sup>151</sup> В Москве удалось получить работу, но в конце 1938 г. последовало увольнение из Московского городского пединститута, причем ученому «ставилось в вину что-то новое» по сравнению с делом 1934 г.<sup>152</sup> История, аналогичная травле Бахтина в Саранске в 1937 г., где явно его спас лишь арест ректора. В начале 1939 г., после снятия Н. И. Ежова, друзья уговорили Виноградова написать вождю. Письмо Виноградова с просьбой о московской прописке и положительная резолюция Сталина и нескольких членов Политбюро сейчас опубликованы<sup>153</sup> (тем же образом тогда получил прописку и другой репрессированный в 1934 г. видный языковед А. М. Селищев<sup>154</sup>). Потом в жизни Виноградова была еще высылка из Москвы в Тобольск в начале войны. Лишь в 1943 г. он окончательно вернулся в Москву.

Не буду сейчас говорить о причинах возвышения Виноградова в 1950 г., это особая тема, о которой я уже писал.<sup>155</sup> Но в числе прочего могла сыграть роль и еще одна черта, вероятно, также отличавшая Виноградова от Бахтина: его русский патриотизм.

Ни Бахтин, ни Виноградов не были людьми советского мировоззрения. В 20-е гг., как бы это ни показалось сейчас странным, Бахтин, назвавший себя «марксистом-ревизионистом», был к нему даже ближе. Ни о каком марксизме Виноградова (исключая встречавшиеся в его поздних работах ритуальные фразы) говорить не приходится. К власти у Виноградова могло быть даже больше претензий: его отец, рязанский священник, был в 1930 г. арестован, сослан в Казахстан, где вскоре умерли и он, и уехавшая вместе с ним мать.<sup>156</sup> Среди близких же родственников Бахтина, кажется, никто арестован не был. Но священник В. А. Виноградов, не передав сыну религиозности, передал ему патриотический настрой. По рассказу Надежды Матвеевны, из всех обвинений, выдвигавшихся против него в 1949 г., его больше расстраивало обвинение в «космополитизме». И закономерно Виктор Владимирович стал автором книги «Великий русский язык».<sup>157</sup> Если отвлечься от нескольких стандартных для того времени цитат, эта книга по духу – совсем не марксистская и не коммунистическая, а панславистская, однако она хорошо соответствовала умонастроениям в год Победы. И не вызывает сомнений искренность Виноградова, писавшего о величии русского языка по сравнению со всеми другими.

Мог ли Бахтин написать такую книгу? Об этой стороне его мировоззрения известно очень мало. Немного о ней говорится и в беседах с В. Д. Дувакиным, хотя некоторые его высказывания, например, в пользу «внеконфессиональности» религии,<sup>158</sup> свидетельствуют в пользу того, что панславистские и великодержавные идеи были ему чужды.

Подведу итог. Виноградов думал о признании, был чувствителен к критике. Признание он получил еще при жизни. И сейчас его имя не забыто уже потому, что живы многие его

<sup>151</sup> Малышева-Виноградова 1988

<sup>152</sup> Селищев 1990: 122

<sup>153</sup> Источник 1988, 1: 154—155

<sup>154</sup> Селищев 1990: 122—123

<sup>155</sup> Алпатов 1998а: 218—222

<sup>156</sup> Наш современник 1995, 1: 187—188

<sup>157</sup> Виноградов 1945

<sup>158</sup> Беседы 1996: 255—256

благодарные ученики. Виноградовская школа существует и поныне, а специалисты по русскому языку продолжают пользоваться его фундаментальными трудами. Бахтин, умерший лишь кандидатом наук, не искал славы, но тоже получил ее при жизни. А после смерти его известность явно превзошла известность Виноградова, особенно за рубежом. А значение их трудов различно. Один – профессионал, автор солидных, продуманных, законченных трудов по сравнительно узким и конкретным проблемам. Другой оставил после себя немного законченных текстов и много черновиков и набросков. Однако его труды касаются многих крупных проблем и оказались интересны самым разным читателям, хотя автор совсем об этом не думал.

## ГЛАВА ВТОРАЯ НА ПУТИ К КНИГЕ

Рассмотрев истоки концепции МФЯ, отношение авторов книги к предшественникам и современникам, можно перейти к выяснению творческой истории книги, ставшей главным результатом деятельности круга Бахтина в области теории языка. Две основные темы данной главы: лингвистическая проблематика публикаций волоши-новского цикла 1926–1927 гг. и этапы написания МФЯ. Вторая тема, в свою очередь, распадается на две: одна из них связана с дошедшим до нас и опубликованным Н. А. Паньковым «Отчетом» Волошинова, отражающим промежуточный этап работы над двумя первыми частями книги; другая касается истории написания ее третьей части, первоначально готовившейся отдельно. Именно в связи с данной главой естественно встают вопросы об авторстве МФЯ и других так называемых спорных текстов круга Бахтина. Эти вопросы вряд ли имеют строгое научное решение, можно лишь высказывать те или иные гипотезы; в то же время вся эта проблематика приобрела уже самостоятельное и, на мой взгляд, слишком большое значение; поэтому она вынесена в экскурс и более нигде специально не рассматривается. Еще один экскурс, примыкающий к данной главе, но выходящий за пределы ее основной тематики, связан с формами вежливости японского языка, кратко упоминаемыми в статье «Слово в жизни и слово в поэзии».

## II.1. Лингвистическая проблематика публикаций 1926–1927 гг

### II.1.1. Статья «Слово в жизни и слово в поэзии»

Эта статья была опубликована как статья В. Н. Волошинова в журнале «Звезда», 1926, № 6 (перепечатана в,<sup>159</sup> ссылки далее на это издание с указанием лишь номера страниц). Если не считать ранних витебских музыковедческих публикаций, это была вторая статья начинающего ученого и первая, посвященная лингвистике.

Статья была предназначена для литературного журнала, рассчитанного на широкого читателя, поэтому в ней минимален научный аппарат, хотя все же в ней есть несколько сносок, в большинстве на работы на немецком языке. Однако статью никак нельзя назвать популярной, она посвящена серьезным научным вопросам и достаточно сложна для понимания.

Больше, чем другие публикации волошиновского цикла, статья связана с литературоведческой проблематикой, считавшейся для Волошинова основной в ИЛЯЗВ. Это видно уже из подзаголовка «К вопросам социологической поэтики». Однако статья выходит за рамки поэтики и литературоведения, эти проблемы в основном концентрируются в ее начале и конце. Статья находится на грани нескольких наук, прежде всего лингвистики, литературоведения и социологии. Я постараюсь выделить ее лингвистическую проблематику.

Собственно социологической поэтике посвящена лишь начальная, сравнительно небольшая часть статьи (59–65). Затем говорится: «Задачей нашей работы является попытка понять форму поэтического высказывания как форму этого особого эстетического общения, осуществленного на материале слова. Но для этого нам придется более подробно разобрать некоторые стороны словесного высказывания вне искусства—в обычной жизненной речи, так как уже в ней заложены основы, потенции (возможности) будущей художественной формы. Социальная сущность слова выступает здесь яснее, отчетливее, и легче поддается анализу связь высказывания с окружающей социальной средой» (64–65). Тем самым перебрасывается мостик от социологии искусства к рассмотрению лингвистических вопросов, «слова в жизни» (65–74). Затем «слово в жизни» сопоставляется со «словом в поэзии» (75–84). В заключение (85–86) речь снова идет о построении социологической поэтики.

В статье еще нет критики «абстрактного объективизма». Однако уже в ней подчеркивается «ущербность» «отвлеченно-лингвистической точки зрения» на слово (53). Сам термин «слово» здесь, разумеется, употребляется не в «отвлеченно-лингвистическом смысле», не в качестве единицы языка, стоящей в одном ряду с морфемой и словосочетанием. «Слово» выступает в статье то как синоним «высказывания», то как его компонент, то, возможно, как то и другое сразу. Такая многозначность этого термина (можно ли говорить здесь вообще о термине?), как мы увидим дальше, сохранилась и в МФЯ.

В статье подчеркивается непродуктивность анализа слова в отвлечении от «внесловесной ситуации высказывания» (65). Это утверждение иллюстрируется примером, с некоторыми модификациями перешедшим и в МФЯ. Описывается диалог: один собеседник говорит Так! другой не отвечает. С «отвлеченно-лингвистической точки зрения» здесь есть одно однословное высказывание, но «изолированно взятое высказывание „так“ пусто и совершенно бессмысленно. Но тем не менее эта своеобразная беседа двоих, состоящая из одного только, правда, выразительно проинтонированного слова, полна смысла, значения и

<sup>159</sup> Волошинов 1995: 59–86

вполне закончена» (65–66). «Сколько бы мы ни возились с чисто словесной частью высказывания, как бы тонко мы ни определяли фонетический, морфологический, семантический момент слова „так“, – мы ни на один шаг не приблизимся к пониманию целостного смысла беседы» (66). Некоторую информацию нам даст анализ интонации, но и его недостаточно. Не хватает «внесловесно-го контекста».

Нельзя не отметить, что пример приведен очень по делу. Семантика предложений такого рода и тем более семантика слов вроде так очень плохо описывалась в «традиционной» и структурной лингвистике. Прогресс здесь наметился уже в недавнее время, когда лингвисты перешли к учету «внесловесного контекста». С другой стороны, достаточно ясно, что не всякое высказывание столь плохо поддается «отвлеченно-лингвистическому описанию»: контекст может быть минимален, скажем, в научном тексте, и тогда возникает иллюзия его полного отсутствия (об этом, впрочем, ниже в статье сказано). В данных формулировках уже проявляется черта, свойственная всему волошиновскому циклу: максимализм, желание перейти сразу к решению проблем, не решаемых лингвистикой, при игнорировании проблем, ею решаемых.

В статье указаны компоненты «внесловесного контекста» высказывания. Для слушающего этот контекст «слагается из трех моментов: 1) из общего для говорящих пространственного кругозора... 2) из общего же для обоих знания и понимания положения и, наконец, 3) из общей для них оценки этого положения» (66). Уже тут виден общий подход, сохраняющийся во всем цикле: необходимость учета позиции обоих участников общения, не только говорящего, но и слушающего.

Как весь этот контекст относится к слову? «Слово здесь вовсе не отражает внесловесной ситуации так, как зеркало отражает предмет». Слово либо «разрешает ситуацию, как бы подводит ей оценочный итог», либо (чаще) «активно продолжает и развивает ситуацию, намечает план будущего действия и организует его» (66–67). То есть ситуация первична, высказывание (слово) вторично. Далее высказывание рассматривается уже не как синоним слова, а как целое, которое «слагается из двух частей: 1) из словесно-осуществленной (или актуализованной) части и 2) из подразумеваемой» (67). Высказывание не психологично, не индивидуально (возможны лишь «индивидуальные эмоции» в качестве «обертонов»), а социально. Это «как бы „пароль“, который знают только принадлежащие к тому же самому социальному кругозору» (68) участники общения. Этот кругозор может быть различен: в примере с Так! он объединяет лишь двоих, но «бывает „подразумеваемое“ семьи, рода, нации, класса, дней, лет и целых эпох» (68).

Безусловно, идеи «внесловесного контекста» и «социального кругозора» предвосхищают современное лингвистическое понятие пресуппозиции. Обычно оно используется применительно к предложению, но может быть распространено и на целые высказывания. Пресуппозиция – это подразумеваемая информация, общая для собеседников; бывают разные виды пресуппозиций: семантическая, прагматическая; см. об этом, например,<sup>160</sup> где также дан обзор литературы по этому вопросу. Исследования пресуппозиции активно ведутся в лингвистике около трех десятилетий, но в 1926 г. находились еще в зачаточном состоянии.

Далее разбирается вопрос о том, почему анализ интонации в высказывании Так! все-таки дает нечто существенное для его понимания в отличие от толкования и прочего анализа самого слова. Это происходит потому, что в интонации присутствует социальная оценка, существенная для того или иного коллектива. Такая оценка входит в содержание высказывания лишь в особых случаях: «Где основная оценка высказывается и доказывается, там она стала уже сомнительной, отделилась от предмета... Как только оценка из формаль-

<sup>160</sup> Кобозева 2000: 213–216

ных моментов перекинулась в содержание, можно с уверенностью сказать, что подготавливается переоценка» (68–69). В обычных ситуациях оценка лишь «определяет самый выбор слова и форму словесного целого; наиболее чистое же свое выражение она находит в интонации» (69).

Поскольку «интонация устанавливает тесную связь слова с вне-словесным контекстом» (69), то довольно значительный раздел статьи (69–74) специально посвящен изучению роли интонации в высказывании. В то время (да и позже) этот вопрос также был плохо изучен в лингвистике. Если интонация и изучалась, то лишь в «формальном», прежде всего, экспериментально-фонетическом плане.

Как указано в статье, интонация в принципе не зависит от содержания высказывания; это иллюстрируется все тем же примером: «семантически почти пустое» Так! в зависимости от контекста может быть произнесено с самой различной интонацией (69). Роль интонации неоднородна. С одной стороны, «прежде всего именно в интонации соприкасается говорящий со слушателями» (69). Но в то же время в ней может присутствовать и «третий участник» – «герой словесного произведения» (70–71).

Сама терминология, необычная для лингвистики того времени, отсылает современного читателя к известной тогда лишь внутри круга Бахтина и опубликованной только в 1986 г. работе Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности». Этот «герой» может быть конкретным человеком, но может быть кем угодно, даже предметом или явлением природы, в этом случае мы имеем дело с «интонационной метафорой» (71). Итак, «всякая интонация ориентируется в двух направлениях: по отношению к слушателю как союзнику и свидетелю, и по отношению к предмету высказывания как к третьему живому участнику; интонация бранит его, ласкает, принижает или возвеличивает» (72). Разумеется, такой анализ интонации очень краток и чисто умозрителен, используется один-единственный, хотя и хорошо подобранный пример, однако идея о двойной природе интонации весьма интересна и, как представляется, должным образом еще не освоена лингвистикой.

Выделение «трех участников высказывания» проецируется в статье и на другие моменты словесного высказывания. Не только интонация, но «всякоедействительно произнесенное (или осмысленно написанное) и не дремлющее в лексиконе слово есть выражение и продукт социального взаимодействия трех: говорящего (автора), слушателя (читателя) и того, о ком (или о чем) говорят (героя)» (72). В Экскурсе 3 я проиллюстрирую это положение на материале японских форм вежливости. Роль интонации специфична лишь в одном: «Только на интонации, как на самом чутком, гибком и свободном моменте слова, это социальное происхождение легче всего обнаруживается» (72).

Тем самым определяется ущербность «лингвистической точки зрения», то есть того, что в МФЯ будет названо «абстрактным объективизмом» (там будет уточнено, что не все лингвисты придерживаются такого подхода). «Для лингвистической точки зрения не существует, конечно, ни этого события (взаимного отношения говорящих.—В.А.), ни его живых участников—она имеет дело с абстрактным, голым словом и его абстрактными же моментами (фонетическим, морфологическим и пр.); поэтому-то целостный смысл слова и его идеологическая ценность – познавательная, политическая, эстетическая—недоступны для этой точки зрения. Как не может быть лингвистической логики или лингвистической политики, так не может быть и лингвистической поэтики» (74). Здесь видна скрытая полемика с теми, кто пытался построить такую поэтику; опять-таки вспоминается Виноградов.

Последняя фраза приведенной цитаты перекидывает мост к рассмотрению вопроса об особенностях «слова в поэзии» (слова «художественный» и «поэтический» во всей статье используются как синонимы, а в примерах чаще речь идет о прозе). Указано, что в художественном тексте общий кругозор говорящего и слушателя (или, выражаясь по-современному, пресуппозиция) меньше, чем в «жизненных высказываниях», но он не может не

существовать. «Наука до известной степени приближается к этому пределу—научное определение имеет минимум подразумеваемого; но, совсем обой-тись без подразумеваемого и она не может» (75). Тем более не может обойтись без него художественное творчество.

Как указано в статье, «особенно важна в литературе роль подразумеваемых оценок. Можно сказать, что поэтическое произведение—могущественный конденсатор невысказанных социальных оценок: каждое слово насыщено ими. Эти-то социальные оценки и организуют художественную форму как свое непосредственное выражение. Оценками, прежде всего, определяется выбор слова автором и ощущение этого выбора (со-выбор) слушателем» (76).

Далее рассматривается вопрос об отношении «словесного, лингвистического состава произведения» к целому произведению. «Ведь и художественное созерцание поэтического произведения при чтении исходит из графемы (т. е. зрительного образа написанного или напечатанного слова), но уже в следующий момент восприятия этот зрительный образ размывается и почти погашается другими моментами слова – артикуляцией, звуковым образом, интонацией, значением, – а эти моменты, далее, выведут нас и вообще за пределы слова. И вот можно сказать, что чисто лингвистический момент произведения так относится к художественному целому, как графема относится к целому слову» (77). Такая аналогия любопытна. Но изучение графем в данном смысле (отмечу, что чаще термин «графема» в лингвистике имеет иное значение—письменного знака) мало интересует науку за исключением особой области – психологии чтения; тем самым аналогия дискредитирует «формалистическую эстетику», в том числе и в варианте Виноградова.

«Там, где лингвистический анализ видит только слова и взаимоотношения между их абстрактными моментами (фонетическим, морфологическим, синтаксическим и др.), там для живого художественного восприятия и конкретного социологического анализа раскрываются отношения между людьми, лишь отраженные и закрепленные в словесном материале. Слово—это костяк, который обрастает живой плотью только в процессе творческого восприятия, следовательно, только в процессе живого социального общения» (78). Итак, в статье подчеркивается в первую очередь сходство между «словом в жизни» и «словом в поэзии», а их различия – скорее количественные, чем качественные.

Далее уточняются некоторые стандартные «моменты содержания», влияющие на языковую форму; при этом опять-таки речь идет и о «жизни», и о «поэзии». Первый из них – «ценностный ранг» героя по отношению к говорящему, двусторонние отношения вроде отношений «господин – раб, владыка—подданный, товарищ – товарищ и т. п.» (78). В связи с этим появляется очень редкое для круга Бахтина и уникальное в волошиновском цикле обращение к «экзотическому» материалу: «Некоторые языки, в особенности японский, обладают богатым и разнообразным арсеналом специальных лексических и грамматических форм, которые употребляют в строгой зависимости от ранга героя высказывания (этикет в языке)» (79).

Японский язык действительно очень интересен в данном плане, см. об этом в Экскурсе 3. Приведу здесь главный вывод экскурсии: если бы автор (авторы?) статьи мог (могли?) пользоваться более точными описаниями данного языка, эти данные могли бы дать еще больше материала для развиваемой в статье концепции: там передаются отношения не только между «автором» и «героем», но между всеми тремя участниками социального взаимодействия.

Но языки различаются в этом плане: «то, что для японца является еще вопросом грамматики, для нас является уже вопросом стиля» (79). И снова параллель в «слове в поэзии»: в жанрах героического эпоса, оды и др. строго выражены иерархические отношения, тогда как в современной литературе они тоже выражаются, но менее четко.

«Вторым определяющим стиль моментом взаимоотношения героя и творца является степень их близости друг к другу» (79). Здесь снова даны лингвистические иллюстрации:

как общезначимые (различия первого, второго и третьего лица), так и опять (в последний раз в волошиновском цикле) «экзотические» (инклюзив и эксклюзив). В связи с инклюзивом и эксклюзивом (упомянуто его существование в языках аборигенов Австралии) говорится, что и этот «момент» может быть грамматикализован. В связи с обоими упомянутыми случаями грамматикализации дважды дана (кажется, единственный раз во всех сочинениях круга Бахтина) ссылка на В. фон Гумбольдта (впрочем, скорее всего, и она попала через посредство Э. Кассирера). В экскурсе 3 будет говориться о том, что в японском языке возможно грамматическое выражение всех типов отношений, зафиксированных в статье.

Однако «в европейских языках эти и подобные им взаимоотношения между говорящими не находят себе особого грамматического выражения. Характер этих языков более абстрактен и не в такой степени способен отражать ситуацию высказывания своей грамматической структурой. Но зато эти взаимоотношения находят свое выражение – притом несравненно более тонкое и дифференцированное – в стиле и в интонации высказывания» (80). Редкое для круга Бахтина и, конечно, лишь попутное обращение к вопросам лингвистической типологии. Далее опять говорится о стилистическом использовании «момента» в художественном произведении, рассматриваются взаимоотношения автора, героя и слушателя в разных художественных стилях.

В итоговой части статьи определяется отношение между анализом языкового материала и поэтикой в целом: «Технический анализ сведется, таким образом, к вопросу о том, какими лингвистическими средствами осуществляется социально-художественное задание формы. Но без знания этого задания, без уяснения предварительно его смысла, технический анализ—нелеп» (86).

Рассматривая статью в целом, можно видеть, что лингвистика присутствует в ней, прежде всего, как «техника», играющая лишь вспомогательную роль и в «жизни», и в художественном творчестве. Между «словом в жизни» и «словом в поэзии» нет непроходимой грани. Есть лишь количественное различие в степени общности «кругозора» говорящего и слушателя (читателя): в «жизни» для успешности общения оно должно быть больше, чем в «поэзии». Тем самым анализ любого, не только художественного высказывания не должен быть чисто формальным, а должен быть содержательным. Более того, из последней приведенной цитаты видно, что «технический» анализ должен проводиться на основе полного знания всего содержания высказывания. И в 20-е гг. XX в., и в наше время наука поступает как раз наоборот: анализ содержания текста основан на предварительном лингвистическом анализе; разумеется, не обязательно этот анализ должен проводиться в явном виде. Когда, скажем, литературовед изучает содержание художественного текста, он уже опирается на знание значения каждого из слов этого текста и грамматических связей между ними. Обычно это знание можно не эксплицировать, исключая особые случаи (например, при неоднозначности), но оно всегда присутствует. В статье по сути призывается это игнорировать.

В статье можно видеть приближение к тем проблемам, которые будут в центре внимания МФЯ. Здесь еще не рассматривается история лингвистики (как будет показано ниже, авторы МФЯ к 1926 г., очевидно, не знали концепцию Соссюра; в то же время термин «актуализированный» в статье может свидетельствовать о знакомстве с Ш. Балли). Но исследовательская практика лингвистов и представителей «лингвистической поэтики» (из последних упомянут В. М. Жирмунский, а в подтексте, возможно, присутствует Виноградов) опровергается. Ее критика будет развита в МФЯ.

Эту раннюю статью объединяет с МФЯ и многое другое: и общий пафос борьбы со сведением языкового анализа к «техническому», и подчеркивание роли говорящего и слушающего в высказывании, и интерес к проблеме интонации. Однако есть и немало различий.

Различия видны и в тематике. В МФЯ не рассмотрены вопросы «слова в поэзии» и построения социологической поэтики, хотя, судя по «Отчету», в первоначальном замысле

книги они присутствовали. Но и если брать только тематику, связанную с теорией языка, то можно видеть при переходе от статьи к книге, с одной стороны, расширение тематики, с другой стороны, одну явную потерю: исчез «герой». В МФЯ постоянно говорится о говорящем и слушателе, но третий участник социального общения, выступающий в статье как живая личность, влияющая на сам процесс общения (даже если «герой» – не человек, он может олицетворяться), превращается в пассивную «тему» высказывания. Не удивительно, что в МФЯ не упомянуты ни японские формы вежливости, ни инклюзив и эксклюзив.

В статье уже проявляется нечеткость терминологии, сохранившаяся и в МФЯ (по-разному, например, понимается соотношение «слова» и «высказывания»). Тем не менее ее идеи были интересными. Больших откликов в печати она, по-видимому, не вызвала.

## II.1.2. Вопросы языка в книге «Фрейдизм»

Вышедшая в 1927 г. под именем В.Н. Волошинова книга «Фрейдизм», как и предшествовавшая ей статья 1925 г. «По ту сторону социального», стоит особняком среди волошиновского цикла (как и среди работ круга Бахтина в целом). Их тематика выходила за пределы и филологических наук, и, тем более, проблематики, над которой, как считалось, работал Волошинов в ИЛЯЗВ. Но статья стала первой ленинградской публикацией Волошинова, а книга—первой монографией.

Основная проблематика книги, резко оценивающей учение Фрейда, выходит за пределы темы данной книги (хотя кое-что надо будет о ней сказать в четвертой главе в связи с вопросами построения марксистской науки в СССР). Отмечу лишь те ее немногочисленные места, которые как-то связаны с языком (в статье 1925 г. этой проблематики практически нет).

Безусловно, здесь виден подход, аналогичный вышеупомянутой статье «Слово в жизни и слово в поэзии» (один раз упомянутой во «Фрейдизме» (157) в связи с тезисом о зависимости всякого высказывания от социальной ситуации), но с еще большим заострением социологизма. Например, среди критических замечаний З. Фрейду есть и такое: анализируемые Фрейдом словесные высказывания пациента во время сеанса психоанализа отражают не «динамику инди-видуальной души» (как утверждал Фрейд), а «социальную динамику взаимоотношений врача и пациента» (158). Как и в статье, подчеркнуто различие двух пониманий слова—в «узколингвистическом» и в «широком и конкретном социологическом смысле» (162); как и в статье, приоритет отдается второму. Примечательна и такая формулировка: «Всякое словесное высказывание человека является маленьким идеологическим построением» (166). Термин «идеология» не играет существенной роли в статье 1926 г., но станет ключевым в МФЯ.

В отличие от статьи 1926 г. в книге специально говорится о внутренней речи (анализ которой занимал существенное место во фрейдизме). К числу немногих позитивных достижений критикуемого учения отнесено выявление «весьма тяжелых конфликтов между внутренней и внешней речью и между различными пластами внутренней речи»(104), хотя, разумеется, объяснение конфликтов у Фрейда отвергается. Подчеркнуто отсутствие принципиальных различий между внутренней и внешней речью: внутренняя речь тоже «предполагает возможного слушателя, строится в направлении к нему.

Внутренняя речь такой же продукт и выражение социального общения, как и речь внешняя» (158). Как отмечает современный исследователь, такой подход к внутренней речи, почти приравнивающий ее к внешней речи, был вскоре опровергнут Л. С. Выготским и Н. И. Жинкиным.<sup>161</sup>

<sup>161</sup> Шапир 1990: 315

Хочется отметить и еще одно место книги, не имевшее, очевидно, специально лингвистического значения для автора (авторов?) «Фрейдизма», но существенное и для истории лингвистики. Дважды в книге критикуется общенаучный принцип, используемый, среди прочих ученых, и Фрейдом: «Психоаналитики... объясняют форму с точки зрения старого принципа – наименьшей затраты сил. Формально художественно то, что требует от созерцающего минимальной траты энергии при максимальном результате. Этот принцип экономии... применен и Фрейдом при анализе техники острот и анекдотов» (140). «Что такое эта „экономическая точка зрения“ у Фрейда? – Просто огульное перенесение на психику старого как мир принципа „наименьшей траты сил“. Но примененный к субъективно-психическому материалу этот принцип, сам по себе пустой и еще ничего не говорящий, становится просто метафорой, поэтической фразеологией, не больше» (175).

Отвергнутый во «Фрейдизме» «принцип экономии», «наименьшей траты сил» (кстати, отвергнутый и Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме») часто использовался лингвистами разных школ для объяснения причин изменений в языке. Об этом принципе говорил И.А. Бодуэн де Куртенэ еще в 1870 г.<sup>162</sup> Почти одновременно с «Фрейдизмом» идеи своего учителя развивал Е. Д. Поливанов, включавший принцип в свою марксистскую теорию языка.<sup>163</sup> Позже, в 50-е гг., данная концепция послужит темой целой книги французского лингвиста А. Мартине, имеющейся и в русском переводе.<sup>164</sup> Изменения, особенно фонетические и фонологические, объяснялись «ленью» говорящего (термин Поливанова); сам же «принцип экономии» рассматривался лингвистами (к указанным именам надо добавить Шарля Балли и Романа Якобсона) как потребность говорящего, сдерживаемая потребностями слушающего (для которого важно, наоборот, максимальное различие того, что он воспринимает). То есть «принцип экономии» оказывался тесно связанным с процессом «социального общения», о котором постоянно говорится в волошиновском цикле. Но в данном случае на это во «Фрейдизме» и других работах цикла не было обращено особого внимания.

---

<sup>162</sup> Бодуэн 1960: 231

<sup>163</sup> Поливанов 1968: 81—85

<sup>164</sup> Мартине 1960

## II.2. История написания МФЯ

### II.2.1. Внешние обстоятельства написания книги, два ее компонента

В истории написания МФЯ, несмотря на ряд важных публикаций Н. Л. Васильева и Н. А. Панькова, опирающихся на архивные документы, многое остается неясным.

С декабря 1927 г. Волошинов стал «штатным аспирантом» ИЛЯЗВ,<sup>165</sup> хотя «сверхштатным аспирантом» он стал еще годом раньше, а в аспирантском личном деле датой поступления названо даже 1 сентября 1925 г.<sup>166</sup> Это личное дело, опубликованное Н. А. Паньковым целиком в ДКХ<sup>167</sup> и в главнейшей своей части в «Известиях РАН»,<sup>168</sup> служит основным источником сведений по работе над книгой; сейчас появился и его английский перевод.<sup>169</sup> Впрочем, конечно, надо учесть резонное предостережение публикатора документов: Волошинов в качестве секретаря подсекции методологии литературы сам готовил документы, относящиеся к себе самому, и мог иногда записывать и фиктивные данные.<sup>170</sup>

Данные личного дела и других документов неопровержимо свидетельствуют, пожалуй, лишь об одном: книга МФЯ в том виде, в каком мы ее знаем, сложилась из двух первоначально разных текстов. Один из этих текстов соответствовал двум первым, другой — третьей части книги (вероятно, кое-что появилось уже в процессе слияния двух текстов).

Н. Л. Васильев указывает: «6 апреля 1928 г. канцелярия ИЛЯЗВа отсылает в ЛенОГИЗ (Ленинградское объединение государственных издательств. — В. А.) рукопись книги Волошинова „Проблема передачи чужой речи (опыт социолингвистического исследования)“ объемом в 10 п. л.».<sup>171</sup> По объему около 10 печатных листов составляет вся книга МФЯ. Однако в издательство явно не была отправлена эта книга в окончательном виде. Этому противоречит и ее название, отражающее проблематику лишь третьей части книги. Этому противоречит и то, что из «Отчета», несомненно, появившегося после 6 апреля, ясно, что две первые части книги тогда в большей части еще не были написаны. Речь может идти лишь о плане отдельного издания третьей части, получившей в итоге совсем иное название, но в большей своей части (кроме первой главы) посвященной проблеме передачи чужой речи. Однако эта часть книги в окончательном виде составляет лишь около трех с половиной печатных листов. Существовал ли в природе более пространственный текст, а если существовал, то какова его судьба? Или же в издательство было направлено нечто другое: то ли план-проспект книги, то ли нынешняя ее третья часть (вероятно, еще без первой главы)? Трудно об этом что-либо сказать.

Личное дело дает, однако, несколько иную информацию. В отчете Волошинова о работе в аспирантуре, датированном 5 мая 1928 г., в числе выполненных им работ названа статья «Проблема передачи чужой речи (опыт социолингвистического исследования)», «принятая к печатанию в сборнике „Против идеализма в языкознании“, ГИЗ-ИЛЯЗВ, 1928 г.

<sup>165</sup> Васильев 1995: 12

<sup>166</sup> Личное 1995: 71

<sup>167</sup> Личное 1995

<sup>168</sup> Отчет 1995

<sup>169</sup> Voloshinov 2004

<sup>170</sup> Паньков 1995: 68—69

<sup>171</sup> Васильев 1995: 12—13

План статьи прилагается». <sup>172</sup> Название то же, что у упомянутой выше книги; в итоге не только оно не сохранилось, но во всех трех частях МФЯ нигде нет терминов «социолингвистический» или «социолингвистика» (они стали широко употребительными в СССР лишь с 60-х гг.). Однако речь идет не о книге, а о статье, предназначенной для публикации в сборнике, который, надо думать, действительно предполагался для издания, но так и не вышел (во всяком случае, нет никаких данных о его существовании). Можно предполагать, что, когда издание сборника не осуществилось, Волошинов решил присоединить готовую статью к книге на правах ее третьей части.

Объем статьи в «Отчете» не указан, но далее идет упомянутый план, уже именуемый «оглавлением». Это оглавление, также опубликованное Н. А. Паньковым, <sup>173</sup> соответствует оглавлениям второй, третьей и четвертой глав третьей части МФЯ (331, 341, 359) лишь с незначительными разночтениями. Вероятно, в отчет включено оглавление уже написанного текста, и эти три главы уже существовали к 5 мая. Неясно лишь их отношение к тексту, посланному в ОГИЗ 6 апреля. Одно из двух: либо в течение месяца текст был втрое сокращен, либо с самого начала существовал лишь текст, в итоге напечатанный в книге. Второе мне представляется более вероятным.

Однако оглавление охватывает не всю третью часть книги. Нет там первой, самой короткой ее главы «Теория высказывания и проблема синтаксиса», единственной, выходящей за пределы изучения чужой речи. Вряд ли нужно было бы скрывать ее существование, если она уже была. Само содержание главы также свидетельствует в пользу того, что она была написана позже. Эта очень короткая глава (самая короткая в книге, если не считать введения) служит по содержанию связующим звеном между второй и третьей частями. Там сначала повторена критика «абстрактного объективизма» из второй части, к ней добавляется еще один тезис о невнимании этого направления в лингвистике к проблемам синтаксиса, ставится вопрос об изучении синтаксических проблем, а в заключение предлагается в виде опыта рассмотреть одну из таких проблем – проблему чужой речи (326–330). Очень естественно предположить, что глава появилась тогда, когда возникла идея издать вместе две первоначально разные работы. Для этого понадобилось как-то связать их по содержанию, поэтому была на последнем этапе написана эта глава. Ее появление, возможно, и потребовало дать третьей части более широкое название: «К истории форм высказывания в конструкциях языка (опыт применения социологического метода к проблемам синтаксиса)», хотя синтаксис в целом в ней кратко рассматривается лишь в первой главе.

Итак, можно с уверенностью говорить о том, что большая часть третьей главы книги уже была написана до 5 мая 1928 г., а весьма вероятно, и до 6 апреля того же года. Лишь первая ее глава была добавлена на последнем этапе работы над книгой (видимо, во второй половине 1928 г., не ранее конца лета). Этот вывод может быть подтвержден еще одним наблюдением. Термин «абстрактный объективизм» в смысле, соответствующем второй части книги, в третьей части встречается только в первой главе, а далее он встречается лишь как эпитет, связанный с Ш. Балли. Последнее вполне соответствует употреблению термина в «Отчете», тогда как его более широкое употребление, видимо, появилось позднее (см. ниже).

## II.2.2. «Отчет» Волошинова и МФЯ

Значительно сложнее что-то сказать о том, как появились две первые части книги. Здесь некоторую информацию можно извлечь из текста, условно именуемого мной «Отчетом» Волошинова, хотя, как уже говорилось, не во всем ему можно доверять. Этот текст,

<sup>172</sup> Личное 1995: 77

<sup>173</sup> Личное 1995: 79—80

дважды опубликованный в 1995 г. и сохранившийся в составе личного дела аспиранта В. Н. Волошинова, самим Волошиновым озаглавлен: «Пути и некоторые руководящие мысли работы „Марксизм и философия языка (основы социологического метода в науке о языке)“». Под «руководящими мыслями» имеется в виду разбитый на 14 пунктов текст, содержащий фрагменты, где-то сходящиеся, где-то расходящиеся с текстом МФЯ.

«План» и «руководящие мысли» приложены к собственно «Отчету о работе в ИЛЯЗВ аспиранта В. Н. Волошинова». <sup>174</sup> Он датирован, как уже говорилось, 5 мая 1928 г. Все данные тексты, очевидно, написаны в одно время и вряд ли указанное число сильно отличается от реального. Во-первых, «план» и «руководящие мысли» подлежали обсуждению в связи с концом учебного года. Во-вторых, текст «Отчета», безусловно, отражает этап работы над МФЯ, далекий от окончательного.

Я должен здесь согласиться с критическим замечанием Н. Л. Васильева по поводу моей публикации. <sup>175</sup> Из нее выходило, будто бы «Отчет» отражал положения некоторого более пространного текста, соответствовавшего первым двум частям МФЯ. Васильев совершенно справедливо замечает, что для такого вывода нет оснований. <sup>176</sup> Я, собственно говоря, так и не считал, просто выразился не очень аккуратно. Действительно, отчет в целом показывает разное состояние готовности разных работ. План трех глав последней части книги, очень детализированный и вполне совпадающий с итоговым оглавлением, свидетельствует о готовности соответствующего текста. Однако план книги «Марксизм и философия языка» лишь намечает проблемы, которые предполагалось затронуть, и сильно расходится с тем, что получилось в итоге. «Руководящие мысли», покрывающие далеко не все пункты плана, производят впечатление готовых, но разрозненных фрагментов или развернутых пунктов плана далеко не законченной работы. Конечно, из этого не следует, что ничего больше не было написано вообще, но очень похоже на то, что в «Отчет» было включено все, что аспирант мог к маю 1928 г. представить. Тем самым очевидно, что третья часть книги в основном была написана раньше первых двух.

Изучение «плана» и «руководящих мыслей» приводит к выводу: то и другое далеко не соответствует окончательному варианту книги. Единственное, что изменилось мало, — это название. Заголовок книги остался тем же, а в подзаголовке «основы» изменились на «основные проблемы». Во всем остальном изменения очень большие, причем очень сильно изменилась вторая часть и меньше первая, а разделы, где речь шла о марксизме, изменились в наименьшей степени.

Обратимся сначала к «руководящим мыслям». Из четырнадцати пунктов лишь пять вошли в окончательный текст дословно или близко к тому, что есть в «Отчете»: это пункты 1–3, 12, 14. Пункты 5, 6, 10, 11 оказались сильно переработанными. Наконец, пункты 4, 7–9, 13 исчезли.

Все исчезнувшие пункты, кроме последнего, относятся к проблематике литературоведения. Как уже отмечалось, эта проблематика занимала существенное место в более ранней статье «Слово в жизни и слово в поэзии», а «Отчет» оказывается здесь ближе к статье, чем к книге. Такая проблематика есть и в «плане», где есть такие пункты, как «Философия языка и проблемы поэтики», «Формальный метод и борьба с ним», «Лингвистика и поэтика», «Преобладающие типы идеологического общения в современной культуре», «Понижение тематизма слова в литературе и жизни». В МФЯ ничего этого нет.

Последний из полностью опущенных в окончательном варианте пунктов—пункт 13, касающийся иных вопросов: речь идет о функциях языка. Перечисляются функции, кото-

<sup>174</sup> Личное 1995: 77—78

<sup>175</sup> Алпатов 1995а

<sup>176</sup> Васильев 1998: 534

рые выделяют лингвисты: коммуникативная, экспрессивная, номинативная, эстетическая, познавательная. Такой взгляд отвергается, поскольку коммуникативную функцию нельзя ставить в один ряд с другими: «Коммуникативная функция вовсе не является одной из функций языка, но выражает само существо его: где язык—там коммуникация. Все функции языка развиваются на основе коммуникации, являясь лишь оттенками ее».<sup>177</sup>

В «плане» еще больше проблем, не реализовавшихся в книге. Сопоставляя его с «руководящими мыслями», можно видеть, что последние расположены в соответствии с развертыванием плана, развивая и детализируя многие его пункты и пропуская некоторые из них. Однако есть одно существенное несовпадение. «План» состоит из трех частей, но «руководящие мысли» более или менее охватывают две его первые части и вовсе не затрагивают третьей. Эта третья часть<sup>178</sup> называется «Опыт применения социологического метода к проблеме высказывания в истории языка» – название, перекликающееся с итоговым наименованием третьей части МФЯ, но более широкое. Далее идут весьма интересные названия разделов, в том числе: «Отражение условий речевого общения на структуре языка и формах высказывания (речевых выступлений)», «Раскрытие и осознание различных форм слова в зависимости от меняющихся условий общения. Диалектика слова», «Жизнь высказывания в современных условиях речевого общения», «Отрешение идеологического слова от реального пространства и времени», «Отрешение слова от говорящего», «Судьбы риторического слова» и другие. Первая из указанных тем заставляет вспомнить проблематику, поставленную в статье 1926 г. в связи с отражением в языке социальной иерархии и степени близости участников ситуации; вероятно, в полном варианте книги об этих проблемах говорилось бы здесь. Среди прочих присутствует здесь и проблема чужой речи, которой, судя по плану, должна была быть посвящена вторая из четырех глав третьей части. Однако это – не тема всей третьей части, а лишь одна из ее тем.

Не получили развития и многие пункты плана второй части книги, который сильно расходится с окончательным вариантом (в первой части расхождений меньше). Так, отраженное в «руководящих мыслях» положение о функциях языка входило в предполагаемую четвертую главу этой части, где рассмотрению подлежала проблема коммуникации в разных ее аспектах. Не были написаны и такие разделы, как «Грамматика и стилистика», «Грамматика и логика» и другие. В итоге оказывается, что очень многие темы теории языка, которые первоначально планировалось охватить, не были затронуты в книге (написанный пункт о функциях языка, возможно, был исключен, поскольку его некуда было вставить). Причин могло быть три. Во-первых, самая простая: для написания всего того, что предполагалось, могло просто не хватить времени. Во-вторых, в связи с расширением в конечном варианте книги историографической проблематики для данных вопросов уже не оставалось места. В-третьих, эта часть плана могла вызвать серьезную критику.

К числу пунктов, которые сохранились в сильно переработанном виде, относятся пункты, где речь идет о монологе и диалоге (частично пункт 10 и полностью пункт 11), и пункты, где говорится об истории лингвистики (пункты 5, 6 и частично 10). О последней проблеме речь особо пойдет ниже.

Пункты «руководящих мыслей», целиком или в основном оставшиеся неизменными, распадаются на две группы. Во-первых, это три пункта, относящиеся к самому началу книги и касающиеся наиболее общих вопросов. Можно сказать, что начало книги (за существенным исключением, касающимся проблемы знака) уже присутствует в отчете. И, что требует внимания, там уже есть большинство марксистских формулировок МФЯ. Если отвлечься от краткого «Введения», не отраженного в отчете и, видимо, писавшегося в самом конце работы

<sup>177</sup> Личное 1995: 97

<sup>178</sup> Личное 1995: 83

над книгой, то можно сказать, что весь марксизм, содержащийся в МФЯ, уже существовал к маю 1928 г. А в это время еще не сформировались ни концепция знака, ни анализ двух направлений в лингвистике, ни разграничение темы и значения, ни многое другое.

Два других сохраненных пункта 12 и 14 касаются частных фрагментов текста, которые в отличие от пункта 13 нашли себе место в книге. Первый из них посвящен соотношению между высказыванием и непрерывным речевым общением, он попал в итоге в главу, посвященную «индивидуалистическому субъективизму». Второй фрагмент, слегка переработанный, касается социальной оценки в языке, здесь явно развивается тематика «Слова в жизни и слова в поэзии», ср. именно здесь оставшийся в МФЯ термин «социальный кругозор». Но входит этот фрагмент в главу о теме и значении, не имеющую аналогов в «Отчете». Есть еще некоторые совпадающие фрагменты. Например, хотя пункт 10 в итоге сильно изменился, имеющийся в нем кусок с критикой понятия закона у!младограмматиков оставлен почти неизменным.

Наконец, в «Отчете» нет даже в виде пунктов плана очень многого из того, что реально вошло в МФЯ. Хотя первая часть изменилась меньше, чем вторая, прибавилось многое, прежде всего концепция знака. В «Отчете» термин «знак» отсутствует вообще, а в отдельных местах видно, как он был впоследствии добавлен. Например, в оглавлении первой главы первой части в «Отчете» есть пункт: «Слово как идеологический феномен *par excellence*», а в книге находим на этом месте: «Слово как идеологический знак *par excellence*» (221).

Еще более расходится вторая часть, где вообще надо говорить о новом тексте книги, совпадающем с «Отчетом» лишь в отдельных случаях. Сам план книги и ее тематика здесь иные. В «плане» «Отчета» есть пункт «Краткий очерк западной и русской философии слова», который должен был завершать первую часть книги. Ему, видимо, соответствовал пункт 6 «руководящих мыслей», в котором идет речь об «оживлении принципиальных и методологических интересов внутри самой лингвистики». <sup>179</sup> В предыдущем пункте 5 речь шла о философах. Из этого краткого пункта выросло больше половины второй части книги, где в главы, посвященные разбору направлений лингвистики (не только современной), вкраплены некоторые куски, содержащиеся в «Отчете».

В «Отчете» даже там, где речь идет о лингвистических концепциях, нет ничего похожего. Прочитую большую часть пункта 6 «руководящих указаний»: «В лингвистике пробуждается обостренное и смелое осознание своих общефилософских предпосылок (неустранимых ни в одной положительной науке) и методологических тенденций. Достаточно назвать школу К. Vossler'a (идеалистическая неофилология), сумевшую необычно широко раздвинуть кругозор лингвистического мышления и углубить лингвистическую проблематику, правда, на почве несколько неопределенного философского идеализма. Не меньшее значение имеет школа уже умершего лингвиста Антона Марти, философия языка которого, опубликованная еще в начале века, в настоящее время оказывает громадное влияние.

В связи с учением Марти, старое гумбольдтовское учение о внутренней форме языка выражается в новом виде в работах литературоведов Гёфеля, Вальцеля, Эрматтингера и др. Чисто лингвистические работы и импульсы к ним исходят из школы философа-гегельянца Бенедетто Кроче. Большое общеметодологическое значение в лингвистике имеет и школа Сиверса. Но кроме этих собственно лингвистических направлений в настоящее время складывается особая дисциплина – «наука о выражении», главными представителями которой являются Отмар Руц и графолог Klages (интуитивист). Большой методологический интерес представляют работы женевского лингвиста Bally. Влияние абстрактного объективизма Bally очень велико не только в Западной Европе, но и у нас в России. Существенны также методо-

<sup>179</sup> Личное 1995: 88

логические предпосылки таких лингвистов, как Сос-сюр, Ван-Гиннекен (психологическая лингвистика) и др. Особое место занимают психолого-лингвистические исследования Карла Бюлера и Эрдмана».<sup>180</sup>

Этот очерк роднит с окончательным текстом, прежде всего, очень высокая оценка Фосслера и его школы. Однако приведенное упоминание этой школы – единственное в отчете, нет ничего и о связях данной школы с предшественниками (Гумбольдт упомянут лишь в связи с Марти по вопросу о внутренней форме языка, которая как раз в МФЯ не упомянута). Из 14 имен ученых XX в. присутствующих в приведенной цитате, в окончательном тексте остались шесть: К. Фосслер, А. Марти, Б. Кроче, Ш. Балли, Ф. де Соссюр, К. Бюлер. Меняются и оценки: школа Марти уже не стоит в одном ряду со школой Фосслера, а сам Марти упомянут лишь вскользь. Еще важнее то, что в паре «Соссюр – Балли» в МФЯ на первое место выставлен уже не второй, а первый. В то же время много новых имен от Лейбница до Шор.

Расхождение нельзя объяснить тем, что книга к маю 1928 г. была уже написана, а авторы представили в виде отчета совсем другой текст (хотя профессиональные бахтинисты, как показывает опыт, могут все, что угодно, обосновать как «карнавальное» или «масочное» действие). «Отчет» явно показывает незавершенность работы над тем, что потом стало двумя первыми частями книги. К тому же ряд положений «Отчета» указывает на недостаточную эрудицию, а то и на недостаточный профессионализм в области лингвистики того (тех?), кто его писал; в книге это отчасти преодолено.

Плохое владение материалом лингвистики особенно очевидно в области ее истории. Виден достаточно случайный подбор имен в отчете, а среди имен преобладают немецкие, хотя Германия тогда уже потеряла значение центра мировой лингвистики. Главное смешано с второстепенным, упомянуты явно периферийные ученые вплоть до «графолога» и нет гораздо более важных. Особенно странен для любого человека, минимально знающего историю лингвистики, пункт, где лидером одного из основных направлений в лингвистике признан Шарль Балли, тогда как Ф. де Соссюр—один из «рядовых» представителей этого направления вместе с Я. ван Гиннекеном. Хорошо известно, что именно Балли был последователем Соссюра и одним из издателей его главного труда, но никак не наоборот. А сильно сейчас забытый ван Гиннекен был совсем далек и от Соссюра, и от Балли.

Происхождение очерка в пункте 6 очевидно: человек, не начитанный в данной области знаний (пусть даже с лингвистическим образованием, как Волошинов), идет в библиотеку и читает все, что ему попадет под руку, выделяя наиболее для себя интересное. При этом он привык читать, прежде всего, литературу на немецком языке. Это не противоречит тому, что какие-то имена могли быть ему и раньше знакомы, как Карл Фосслер, печатавшийся в журнале «Логос», и Шарль Балли, упоминавшийся у Виноградова.

В МФЯ иерархия другая: «табель о рангах» в основном выдерживается, за исключением по-прежнему очень высокой оценки школы Фосслера, что было принципиально. Зато Балли уже находится на втором плане по сравнению с Соссюром, а к ним добавлен и третий представитель Женевской школы – Альбер Сеше, не названный в «Отчете», тогда как ван Гиннекен исключен из списка. Про автора «Отчета» трудно сказать, читал ли он когда-нибудь Соссюра или судит о нем понаслышке, через Балли. А в МФЯ очевиден очень внимательный анализ «Курса» Соссюра.

Можно предположить, что значительная доработка книги происходила в промежутке между представлением и обсуждением «Отчета» (май и, может быть, июнь 1928 г.) и сдачей книги в печать (не позже осени 1928 г., если в январе 1929 г. книга была уже опубликована: 23 января 1929 г. Волошинов дарил ее Медведеву). Этому, казалось бы, может противоречить

<sup>180</sup> Личное 1995: 88—89

тот факт, что статья «Новейшие течения лингвистической мысли на Западе» (сокращенный вариант как раз той части МФЯ, которой не было в «Отчете») помечена 1928 г. Но, вероятно, она печаталась параллельно с книгой, выйдя чуть раньше. И надо отметить еще одну фразу, которую обычно рассматривают только в связи с проблемой авторства МФЯ: слова Е. А. Бахтиной, запомнившиеся С. Г. Бочарову: «Помнишь, Мишенька, как ты диктовал ее (книгу.—В. А.) Валентину Николаевичу на даче в Финляндии?».<sup>181</sup> К вопросу о «диктовке» я вернусь в экскурсе 2. Сейчас нам важно то, что, как указывает В. Л. Махлин, речь идет о даче в Юкках (разумеется, не в Финляндии, а в советской части Карельского перешейка) и о лете 1928 г.<sup>182</sup> Следовательно, работа над книгой шла и после «Отчета». Диктовка не может относиться ни к ее третьей части, ни к тем фрагментам (например, марксистским), которые уже были представлены в «Отчете». Видимо, за лето сложились историко-лингвистические и теоретико-лингвистические разделы книги, которые потом были напечатаны и в виде статьи.

Причины, заставившие столь существенно изменить за короткое время концепцию книги, конечно, не поддаются точному восстановлению. Они могли быть результатом авторских размышлений, но могли быть и связаны с критическими замечаниями, кем-то высказанными по поводу отчета. Обе причины, разумеется, не исключают друг друга.

Нельзя не учитывать, что с «Отчетом» ознакомился такой значительный (и, безусловно, хорошо знавший положение дел в мировой лингвистике) языковед, как Л. П. Якубинский. Его замечания могли повлиять на изменение концепции книги. Может быть, в обсуждении участвовали и другие профессиональные лингвисты (например, А. А. Холодович). Также, безусловно, в обсуждении участвовали В. А. Десницкий и другие литературоведы.

Одно из гипотетических замечаний, почти наверняка прозвучавшее, уже обсуждалось в конце первой главы: это необходимость считаться с Марром. Об этом мог говорить кто угодно: от Л.П. Якубинского, тогда увлекавшегося «новым учением», до специалистов по литературе. Еще одно гипотетическое замечание легко реконструировать, поскольку на него дан прямой ответ. В самом начале третьей части МФЯ читаем: «Проблема сравнительного языковедения, очень важная в современной философии языка вследствие того огромного места, какое занимает это языкознание в новое время, к сожалению, в пределах настоящей работы осталась вовсе не затронутой. Проблема эта очень сложна, и для самого поверхностного анализа ее потребовалось бы значительное расширение книги» (326). Среди участвовавших в обсуждении, безусловно, были люди с традиционным филологическим образованием, для которых научное языкознание ассоциировалось со сравнительно-историческим. Им могла быть странной сама проблематика книги.

Другой случай, когда очень вероятно влияние обсуждения «Отчета», — это исключение из книги всей литературоведческой проблематики. Обсуждался «Отчет» в кругу, где преобладали литературоведы, и вполне естественно, что именно данная проблематика вызвала больше всего замечаний и несогласий. Может быть, было решено перенести все эти вопросы в другую книгу, которую также предполагал писать Волошинов: «Введение в социологическую поэтику». В том же отчете от 5 мая 1928 г. указаны четыре уже написанные главы этой книги,<sup>183</sup> судьба которой загадочна.

Наконец, остается вопрос о расширении историко-лингвистической и теоретико-лингвистической части, самый серьезный. Изменения в оценках ряда лингвистов могут объясняться двумя причинами: замечаниями профессионального лингвиста (тут естественна кандидатура Якубинского) или чтением соответствующей литературы. Безусловно, гипоте-

<sup>181</sup> Бочаров 1993: 73

<sup>182</sup> Махлин 1993: 177

<sup>183</sup> Личное 1995: 77—78

тический лингвист мог и указать на подходящие обзоры и очерки по лингвистической историографии. В МФЯ большую роль играют не раз упоминаемые обзоры такого рода М. Н. Петерсона (1923) и особенно Р. О. Шор (1926). Резко разойдясь с Шор по принципиальным оценкам, авторы МФЯ, однако, активно использовали ее (его, как они думали) фактический материал и историографический анализ, прежде всего положение о «Курсе» Соссюра как «главной» книге современной западной науки. «Отчет» не показывает, что его автор (авторы?) был знаком с этими обзорами, вероятно, они стали ему (им) известны на более позднем этапе.

Можно предположить, что перенос основного внимания с немецкого языкознания на «Курс» Соссюра, главный объект критики в МФЯ, сильно повлиял на всю концепцию книги. Poleмика с «абстрактным объективизмом» выдвинула на первый план тематику, которая поначалу не предполагалась или предполагалась как второстепенная. Под влиянием Соссюра могла появиться и концепция знака. Проблемы же, фигурировавшие в «плане» и «руководящих мыслях» (кроме проблем марксизма), отошли на второй план и большей частью были исключены. Могло сыграть роль и то, что когда появилась возможность быстро издать книгу (а издана она была очень быстро), авторы уже не имели времени полностью реализовать первоначальный план и лишь добавили готовую работу о чужой речи, которую не удалось издать отдельно.

Теперь можно непосредственно обратиться к концепции МФЯ. Этому посвящена следующая глава.

## Экскурс 2

# ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА «СПОРНЫХ ТЕКСТОВ»

### 1. Состояние вопроса и его неразрешимость

Проблема авторства МФЯ и других работ волошиновского цикла, а также некоторых публикаций П. Н. Медведева (так называемых «спорных текстов») обсуждалась многократно. Еще в 1995 г. Н.Л. Васильев отмечал, что этот вопрос «оброс уже солидной библиографией (на нескольких языках)». <sup>184</sup> За прошедшие годы она еще разрослась, и я вовсе не собираюсь перечислять ее всю. Важно лишь выявить основные точки зрения и попытаться разобраться в этом запутанном вопросе.

Как указывает Н. Л. Васильев, «к числу так называемых „спорных текстов“ чаще всего относят (иногда со ссылками на устные высказывания самого Бахтина) книги „Фрейдизм“, „Формальный метод в литературоведении“, „Марксизм и философия языка“ и статью „Слово в жизни и слово в поэзии“; реже (с оговорками) статьи Волошинова „О границах поэтики и лингвистики“, „По ту сторону социального“, „Новейшие течения лингвистической мысли на Западе“, его триптих в журнале „Литературная учеба“ и некоторые другие исследования, вышедшие из бахтинского круга». <sup>185</sup> Все перечисленные сочинения опубликованы под именем Волошинова, кроме книги «Формальный метод в литературоведении», изданной под именем Медведева. Этот список требует некоторых коррективов. Вряд ли можно одновременно полностью относить к «спорным текстам» МФЯ и «с оговорками» – статью «Новейшие течения лингвистической мысли на Западе», поскольку последняя – лишь перепечатка части книги с незначительными разночтениями (вроде именованная Соссю-ра «давно умершим» в книге и просто «умершим» в статье). Требует уточнения и формулировка «некоторые другие исследования»: под ними, вероятно, имеются в виду статья И. И. Канаева «Современный витализм» (упоминаемая Васильевым ниже) и те статьи Медведева, которые по содержанию примыкают к «Формальному методу», прежде всего статья «Ученый сальеризм». Сразу надо отметить несимметричность между Волошиновым и Медведевым: наследие последнего никогда не включается в «спорные тексты» полностью (не только ранние и поздние работы, писавшиеся вдали от Бахтина, но и часть публикаций второй половины 20-х гг.), а наследие Валентина Николаевича включается сюда целиком (по крайней мере, в известной нам части). Исключение составляют разве что музыковедческие публикации времен Витебска. А его публикации в Ленинграде перечислены в процитированном списке почти полностью, кроме лишь рецензии на Виноградова в журнале «Звезда». Вряд ли кто-то считает, что именно она – один-единственный текст, принадлежащий Волошинову. Гораздо распространеннее мнение о том, что Волошинов сам ничего не писал (по крайней мере, после отъезда из Витебска). Завершенный вид версия приобрела в томе, <sup>186</sup> куда в качестве работ Бахтина включено (вместе с «Современным витализмом», «Ученым сальеризмом» и «Формальным методом...») все изданное под именем Волошинова в 1926–1930 гг.

Такая версия существует давно, хотя до 70-х гг. не проникала в печать. Одно из свидетельств – написанные в первой половине 50-х гг. воспоминания О. М. Фрейденберг (полностью до сих пор не опубликованные). В них Волошинов предстает как «элегантный молодой человек и эстет, автор лингвистической работы, написанной для него Блохиным» (цитиру-

<sup>184</sup> Васильев 1995: 16

<sup>185</sup> Васильев 1995: 16

<sup>186</sup> Бахтин 2000

ется по<sup>187</sup>). Фрейденберг утверждает, что Волошинов и ей предлагал нечто подобное, она отка-залась и их отношения прервались. Воспоминания писались спустя много лет и содержат явные неточности. Фамилия Бахтина явно ничего не говорила Фрейденберг, и она ее перепутала; вдобавок Воло-шинов назван сотрудником Яфетического института АН СССР, где он никогда не работал. Надо учитывать и крайнюю субъективность этих воспоминаний, написанных в годы, когда Фрейденберг была отставлена от работы. Они переполнены крайне резкими характеристиками очень многих знакомых ей ученых: И. И. Мещанинова, И. А. Орбели, И. И. Толстого и др.; в то же время оценки Марра завышены. Принимать на веру оценки Фрейденберг (что в наши дни нередко делается) никак нельзя. Но ясно, что в отношении «Блохи-на» она пересказывает реально ходившие слухи.

Имеются данные и о том, что другая известная ленинградская исследовательница Л. Я. Гинзбург, хорошо знавшая Волошинова и Медведева, также считала автором «спорных текстов» Бахтина: «В книге В. Н. Волошинова „Марксизм и философия языка“ (1929) все или почти все, по мнению Л. Я., принадлежит Бахтину».<sup>188</sup> Наконец, В. В. Иванов указывает, что о принадлежности той же книги Бахтину он узнал еще в 1956 г. (когда эта книга была совершенно забыта) от В.В.Виноградова.<sup>189</sup> Ниже будет упомянуто еще несколько имен.

Тем не менее до начала 70-х гг. в печати книга всегда упоминалась как работа Волошинова. Под этим именем вышло и первое ее зарубежное издание 1973 г. Однако в том же 1973 г. в Тарту появилась статья В. В. Иванова, основанная на его докладе 1970 г. в Лаборатории вычислительной лингвистики при МГУ. Там в подстрочном примечании говорилось: «Основной текст работ 1–5 и 7 (имеются в виду главные „спорные тексты“, в том числе под номером 5 МФЯ. – В. А.) принадлежит М. М. Бахтину. Его ученики В. Н. Волошинов и П. Н. Медведев, под фамилиями которых они были опубликованы, произвели лишь небольшие вставки и изменения отдельных частей (в некоторых случаях, как в (5), и заголовков) этих статей и книг. Принадлежность всех работ одному автору, подтвержденная свидетельствами очевидцев, явствует из самого текста».<sup>190</sup> Это, по-видимому, первое печатное высказывание такого рода (еще при жизни Бахтина). Отмечу, что версия об изменении заглавия Волошиновым ничем не подтверждается: как уже упоминалось, книга на всех этапах имела одинаковое название. О каком-либо первоначальном заголовке Бахтина данных нет.

Уже через два года в статье «Психоанализ» 3-го издания Большой советской энциклопедии (автор М. Н. Эпштейн) в числе ученых, применявших положения психоанализа в борьбе против формализма и вульгарного социологизма, был назван «В. Волошинов (М. Бахтин)».<sup>191</sup> Такая формулировка, во-первых, приписывала Бахтину волошиновский цикл уже в массовом издании, во-вторых, открывала возможность считать, что Волошинов – просто псевдоним Бахтина. Такое мнение также существовало (некоторое время так считал и я), вот пример из статьи 70-х гг.: «М. М. Бахтину, в частности, принадлежит книга „Марксизм и философия языка“ (Л., 1929), которую он опубликовал под псевдонимом В. Н. Волошинова».<sup>192</sup> Даже в 90-е гг. Н. Л. Васильев должен был подчеркивать: «Волошинов был вполне реальным человеком, а не мифологемой».<sup>193</sup> В 70-е гг., впрочем, имя Волошинова могло у нас рассматриваться и безотносительно к Бахтину: в соседнем томе БСЭ в статье «Речь» (автор А. А. Леонтьев) МФЯ присутствует в библиографии как сочинение Волошинова без упоми-

<sup>187</sup> Перлина 1995: 33

<sup>188</sup> Баевский 1995: 10

<sup>189</sup> Иванов 1995: 134

<sup>190</sup> Иванов 1973: 44

<sup>191</sup> БСЭ, т. 21: 188

<sup>192</sup> Звезгинцев 1996: 301

<sup>193</sup> Васильев 1995: 5

нения Бахтина.<sup>194</sup> Но к 80-м и особенно к началу 90-х гг. возобладали точка зрения, четко представленная в каталоге РГБ (бывшей Библиотеки имени Ленина). Там под именем Валентина Николаевича Волошинова нет ни одного издания, но стоит карточка со словами: «под этим именем публиковал свои работы М. М. Бахтин», на букву В и надо искать волошиновские публикации (в каталоге Исторической библиотеки в Москве – то же самое). Идея же о том, что «спорные тексты» все же в какой-то небольшой части принадлежат Волошину и Медведеву, высказанная Ивановым или Гинзбург, затем стала вытесняться идеей о том, что Бахтин – их единственный автор, наиболее активно отстаиваемой И. В. Пешковым. Впрочем, в 90-е гг. стали высказываться разные точки зрения на этот счет, активно опровергать единоличную принадлежность «спорных текстов» Бахтину стали Н. Л. Васильев и Ю. П. Медведев (сын П. Н. Медведева). Сейчас МФЯ и другие работы волошиновского цикла издаются то под именем Бахтина,<sup>195</sup> то (реже) под именем Волошинова.<sup>196</sup>

Что касается аргументов в пользу полного или частичного авторства Бахтина, то наиболее полный (хотя, видимо, не исчерпывающий) их перечень приводит Н. Л. Васильев:

1) Свидетельства и высказывания – прямые и косвенные – лиц, знавших Бахтина или интервьюировавших его.

2) Ссылки на участников литературной жизни 1920-х гг. (В. Б. Шкловского, В. В. Виноградова, Н. Я. Берковского), приписывавших именно Бахтину критику формального метода в литературоведении и языкознании.

3) Сообщения Н. А. Волошиновой (Алексеевской) и Е. А. Бахтиной о том, что отдельные «спорные» книги либо принадлежат Бахтину, либо диктовались им Волошину, либо готовились к изданию в доме Бахтиных.

4) Согласие и последующий отказ Бахтина подписать документ о его авторском праве на некоторые работы, вышедшие под именами Волошинова и Медведева.

5) Упоминание Бахтиным в разговоре с С. Г. Бочаровым (21 ноября 1974 г.) о том, что во время следствия по делу «Воскресения» ему задавали вопрос о секрете странного авторства.

6) Методологическая и текстологическая близость «спорных текстов» к авторизованным работам Бахтина.

7) Документальное подтверждение И. И. Канаевым бахтинского авторства статьи «Современный витализм», косвенно подкрепляющее версию о возможном участии Бахтина в написании работ Волошинова.

8) Отсутствие у Бахтина ссылок на «спорные тексты», а также публикаций (и попыток к этому) 1925–1928 гг.<sup>197</sup>

Рассмотрим эти аргументы (из них четвертый и пятый не имеют самостоятельного значения и могут быть разобраны вместе с соответственно первым и вторым, зато восьмой явно распадается на два).

Первый аргумент – свидетельства самого Бахтина. Кажется, нет никаких свидетельств такого рода, относящихся к 20–50-м гг. Все нам известное сказано или написано в последние полтора десятилетия жизни Михаила Михайловича. Эти свидетельства распадутся на два класса: верифицируемые (письменные или записанные на магнитофон) и неверифицируемые (устные рассказы, переданные мемуаристами). Первый класс, прежде всего, включает в себя письмо Бахтина В. В. Кожину от 10 января 1961 г. и беседы с В. Д. Дувакиным 1973 г.

<sup>194</sup> БСЭ, т. 22: 74

<sup>195</sup> Бахтин 1993; 1998; 2000

<sup>196</sup> Волошинов 1995

<sup>197</sup> Васильев 1995: 17

Письмо Кожинуву уже несколько раз публиковалось и многократно цитировалось. Рассмотрю наиболее полное издание всей переписки двух видных ученых, подготовленное Н. А. Паньковым,<sup>198</sup> позволяющее рассмотреть слова Бахтина в контексте их написания.

Переписка Бахтина с Кожинувым началась по инициативе последнего в ноябре 1960 г. В третьем по счету письме от 25 декабря того же года (подписано пятью сотрудниками Института мировой литературы АН СССР, но кусок, который будет далее цитироваться, написан от имени Кожинова) говорится: «Я (то есть В. Кожинув) пишу теоретическую работу о художественной речи... В связи с этим мне очень интересно было бы узнать Ваше мнение о двух работах, посвященных одинаковым проблемам. Это давно ценимые мной книги: В. Волошинов. „Марксизм и философия языка“ и П. Медведев „Формальный метод в литературоведении“... Замечу, что В. В. Виноградов (общеизвестный академик)... указал на совпадение теории художественной речи в этих двух книгах и в Вашей книге о Достоевском. И, по-моему, это небезосновательно. Михаил Михайлович, знаете ли Вы эти книги и как Вы относитесь к ним? Мне было бы интересно хотя бы очень короткое Ваше суждение об этом. Простите, что беспокою Вас этими мелочами. Дело в том, что все мы в вопросах художественной речи стоим на той позиции, которая выразилась в упомянутых книгах».<sup>199</sup> Под «нами» имеются в виду, помимо автора письма, С. Г. Бочаров, Г. Д. Гачев, П. В. Палиевский, В. Д. Сквозников.

В это время автор письма был знаком с Бахтиным лишь заочно и явно не хотел раскрывать все карты. Достаточно ясно, что вопрос был связан не столько в связи с теорией художественной речи, сколько с интересовавшим Кожинова вопросом авторства этих двух книг. Как видно из последующих писем, он уже слышал к тому времени об их принадлежности Бахтину и, говоря о книгах (которые объединены общностью концепций, методологии, но все же не «посвящены одинаковым проблемам»), провоцировал собеседника на прояснение проблемы авторства.

Ответ от 10 января показывает, что Бахтин это хорошо понял. Он писал: «Книги „Формальный метод“ и „Марксизм и философия языка“ мне очень хорошо известны. В. Н. Волошинов и П. Н. Медведев – мои покойные друзья; в период создания этих книг мы работали в самом тесном творческом контакте. Более того, в основу этих книг и моей работы о Достоевском положена общая концепция языка и речевого произведения. В этом отношении В. В. Виноградов совершенно прав. Должен заметить, что наличие общей концепции и контакта в работе не снижает самостоятельности и оригинальности каждой из этих книг. Что касается до других работ П. Н. Медведева и В. Н. Волошинова, то они лежат в иной плоскости, не отражают общей концепции и в создании их я никакого участия не принимал. Этой концепции языка и речи, изложенной в указанных книгах без достаточной полноты и не всегда вразумительно, я придерживаюсь и до сих пор, хотя за тридцать лет она совершила, конечно, известную эволюцию. Мне было приятно узнать, что она имеет сторонников и сейчас. По существу же самой концепции разрешите мне написать позже, когда я несколько разгрузюсь и буду чувствовать себя лучше».<sup>200</sup>

А дальше продолжения диалога не последовало, хотя переписка продолжалась еще долго. Речь в ней идет о многих проблемах, в том числе научных. Подробно обсуждаются проблемы книг о Достоевском и Рабле, речь заходит и о поздних работах Бахтина по лингвистике, но о «спорном цикле» почти ничего. Более трех лет он вообще не упоминается в переписке, затем разговор заводит Кожинув в письме от 5 ноября 1964 г.: «Я только что перечитал (первый раз читал очень давно и весьма плохо понял) „Марксизм и философию

<sup>198</sup> Переписка 2000

<sup>199</sup> Переписка 2000: 123

<sup>200</sup> Переписка 2000: 127—128

языка“ (псевдо-Волошинова). Ваши идеи о двух направлениях в лингвистике, об ограниченности сосюррианства, о проблеме различия „сигнала“ и „знака“ и многое другое замечательны и необходимы сегодня. Я собираюсь писать о структурализме в семиотике и не смогу обой-тись без этого. Придется, конечно, цитировать Волошинова (вернее, я собираюсь не цитировать, а пересказывать). Но очень прошу Вас позволить мне указать, что Волошинов – ваш ученик или, по крайней мере, соратник. Ведь, кроме всего прочего, В. В. Виноградов, Н. Я. Берковский. . . В. Б. Шкловский и даже Дымшиц знают точно, что книга написана Вами по крайней мере на 9/10».<sup>201</sup> Кожинов здесь в отличие от первого письма четко выражает свое мнение о принадлежности МФЯ. Но Бахтин явно не намерен продолжать диалог по данной теме, в ответном письме от 16 ноября 1964 г. отвечая лишь на прямой вопрос: «Что касается до Волоши-нова, то Вы с полным правом можете назвать его моим учеником»<sup>202</sup> (как отмечает Н. А. Паньков в комментарии,<sup>203</sup> Кожинов ничего об этом тогда не написал). И всё. Больше имя Волошинова (как и Медведева) в переписке не встречается. Уже здесь видно, что Бахтин не был склонен упоми-нать это имя.

Вернемся к письму от 10 января 1961 г. Как мне представляется, это самый серьез-ный документ по вопросу о «спорных текстах» из всего, что было сказано Бахтиным. И без-условно, только здесь он всерьез высказался о своем отношении к их идеям и о развитии этих идей в своих последующих работах. Отмечу и то, что письма Кожи-нову, особенно первые, написанные тогда, когда Бахтин ничего не знал о своем собеседнике, по тону очень серьезны, в них совершенно нет легенд о себе и желания мистифицировать собеседника, что имеется, например, в беседах с Дувакиным.

Позже Бахтин явно избегал упоминания «спорных текстов» на бумаге. С этим, веро-ятно, связана и фиксируемая Н. Л. Васильевым история с отказом (после первоначального согласия) подписать документ об авторском праве на эти тексты.

Лишь в 1973 г. мы снова имеем прямой голос Михаила Михайловича в беседах с Дува-киным. Однако для решения данного вопроса эти беседы дают очень немногое, причем умолчания дают, пожалуй, больше, чем прямые слова. О «спорных текстах» речь идет в одной, уже многократно обсуждавшейся фразе: «У меня был близкий друг – Волошинов. Он автор книги „Марксизм и философия языка“, книги, которую мне, так сказать, приписы-вают».<sup>204</sup> Этот короткий текст И. В. Пешков изучает очень детально, пытаясь с помощью риторических приемов вычитать косвенное признание авторства.<sup>205</sup> Однако из него нельзя никак это вывести, как нельзя вывести и обратное. Констатируется бесспорный факт того, что книгу приписывают Бахтину, и всё!

Отмечу, что во всех магнитофонных беседах заметно отсутствие особого желания рас-сказывать о Волошинове. О Медведеве речь заходит явно чаще, причем отзывы Бахтина не очень благожелательны; он, например, называет его книгу о Блоке «пустяковой» и «бара-хольной».<sup>206</sup> А о Волошинове первый раз речь заходит в связи с тем, что он познакомил Бахтина с Вячеславом Ивановым<sup>207</sup> (Н. Л. Васильев считает, что эта встреча произошла в 1924 г.,<sup>208</sup> хотя у Бахтина явно речь идет о событии дореволюционного времени). Как раз здесь попутно он назван «близким другом» и автором МФЯ. Потом Волошинов упомянут в

<sup>201</sup> Переписка 2000: 272

<sup>202</sup> Переписка 2000: 275

<sup>203</sup> Переписка 2000: 276

<sup>204</sup> Беседы 1996: 77—78

<sup>205</sup> Пешков 1997

<sup>206</sup> Беседы 1996: 171

<sup>207</sup> Беседы 1996: 77—78

<sup>208</sup> Васильев 1995: 5

числе других участников круга, «который называют сейчас „круг Бахтина“»,<sup>209</sup> здесь же сказано, что Волошинов был с Бахтиным в Невеле и Витебске. Последний раз Волошинов упомянут как «маленький» поэт, выступавший в салоне М. В. Юдиной, а также как «музыкант, композитор».<sup>210</sup> Помимо редкости упоминаний «близкого друга», заметно и желание отослать собеседника к распространенным мнениям: «мне, так сказать, приписывают», «называют сейчас». О Волошинове неизвестной по другим источникам информации мало. Самое существенное, пожалуй, – свидетельство о знакомстве Волошинова с Бахтиным еще в Петрограде не позднее 1917 г. Впрочем, речь уже шла о недостоверности многих утверждений Бахтина в беседах.

Н. Л. Васильев, анализируя эти слова о Волошинове, отмечает: «Бахтин совершенно игнорирует в данном случае Волошинова как ученого, словно его восприятие личности друга „замкнулось“ на не-вельско-витебском периоде их общения». В связи же со словами о «приписываемой» книге он пишет: «Не свидетельство ли это того, что Волошинов ленинградского и ленинградского периодов представлял собой в сознании Бахтина как бы двух людей, с трудом „уживавшихся“ друг с другом: поэта, музыканта – и филолога, философа?».<sup>211</sup> Точнее, «поэт, музыкант» в его сознании был, а был ли там «филолог, философ» – неизвестно. Кстати, и В. В. Иванов свидетельствует, что в разговорах с ним Бахтин о Медведеве говорил плохо, а о Волошинове не говорил никогда.<sup>212</sup>

Как указывает Н. А. Паньков, «по словам ряда мемуаристов (и в том числе В. В. Кожина), вспоминая о последних годах жизни Бахтина, он говорил о книгах „Марксизм и философия языка“ и „Формальный метод в литературоведении“ (а также о вышедшей под именем Волошинова книге „Фрейдизм“) очень неохотно».<sup>213</sup> Сравнительно много он написал о них в письме Кожину-ву, может быть, и потому, что к нему обратились по их поводу в первый раз. Потом, когда вопрос об авторстве стал задаваться часто, он старался избегать ответа, особенно письменного. Характерно и то, что в беседах с Дувакиным фамилия Медведева фигурирует часто, но ни разу не упомянут «Формальный метод» (в отличие от его работ, не приписываемых Бахтину).

Однако в устных беседах Бахтин должен был как-то отвечать на многочисленные вопросы об авторстве. И здесь бросается в глаза то, что сказанное им «несколько ностраживает своей противоречивостью»;<sup>214</sup> см. об этом также.<sup>215</sup> Говорилось весьма разное, хотя в некоторых рамках: кажется, никто из мемуаристов не зафиксировал слов о том, что Бахтин не имел никакого отношения к МФЯ и «Формальному методу».

Вот одно из записанных свидетельств: «Отвечая на мой вопрос об авторстве книг, подписанных именами Медведева и Волошинова, Михаил Михайлович назвал своим созданием книгу о формальном методе. Про другие же работы Бахтин сказал, что в них выражены его идеи, развитые им в лекциях для круга учеников. Он отрицал, что у Волошинова есть что-то самостоятельное, и отмечал в своих отношениях с ровесником, как я записал, „естественное соотношение между учителем и учеником“».<sup>216</sup> О МФЯ похоже на сказанное в письме Кожину, но «общая концепция» превращается в идеи Бахтина.

<sup>209</sup> Беседы 1996: 143

<sup>210</sup> Беседы 1996: 184

<sup>211</sup> Васильев 2000а: 33

<sup>212</sup> Иванов 1995: 138

<sup>213</sup> Переписка 2000: 128

<sup>214</sup> Васильев 1995: 17

<sup>215</sup> Васильев 2004: 250–251

<sup>216</sup> Свительский 1994: 119

Н. А. Паньков, исходя прежде всего из своих бесед с В. В. Кожиним, отмечает, что Бахтин в последние годы жизни по поводу «спорных текстов» «иногда признавался, что написал их „основной текст“». От официальных претензий на авторство названных книг Бахтин отказался, кстати, низко оценивая эти книги – из-за их вынужденно марксистского колорита». <sup>217</sup> Опять не совсем то же самое, что в письме Кожину и в предшествующем

высказывании, но сходство есть. Об отказе Бахтина под конец жизни брать ответственность за марксистские разделы «спорных текстов» пишет и В. В. Иванов, вспоминая слова Бахтина: «Вячеслав Всеволодович, неужели Вы думаете, что я мог бы поставить свое имя на книге под названием „Марксизм и философия языка“». Он интонацией выделил слово „марксизм“». <sup>218</sup> Правда, Иванов делает из этого вывод, что и тексты «фиктивного автора-марксиста» МФЯ тоже были написаны целиком Бахтиным, <sup>219</sup> но сама концепция «фиктивного автора» спорна.

Но есть и другие свидетельства. С. Г. Бочаров вспоминал: Бахтин в беседах с ним говорил, что МФЯ, «Формальный метод», «Фрейдизм» и «Слово в жизни и слово в поэзии» написаны им «с начала до конца»; <sup>220</sup> а ведь из письма Кожину вытекает, что Бахтин не имел отношения к «Фрейдизму». В. В. Иванов вспоминал похожие утверждения Бахтина о его единоличном авторстве и о том, что Волошинов и Медведев сами предложили издать книги под псевдонимами. <sup>221</sup> Еще одно из свидетельств такого рода повлияло на Р. Якобсона, который в 1979 г. писал югославскому специалисту по Бахтину Р. Матияшевичу: «Профессор Браун Университета (Providence) Томас G. Winner посетил Бахтина незадолго до его смерти и тот прямо заявил Виннеру: „Книга „Марксизм и философия языка“ написана мною“. Несколько московских лингвистов передавали мне то же, со слов Бахтина». <sup>222</sup> Точка зрения Якобсона, несомненно, повлияла на мнения западных ученых, хотя представление о Бахтине как единственном авторе там все же не стало столь общепринятым, как у нас.

Итак, высказывания Бахтина оказываются противоречивыми. Нельзя не учитывать и его склонность к мистификациям, и его возможное желание говорить собеседникам то, что они хотели услышать (что-то они могли и неточно запомнить). Можно согласиться с мнением Д. Шеферда: не следует преувеличивать значение устных версий об авторстве, часто противоречивых. <sup>223</sup>

Но есть некоторый инвариант всего этого. С одной стороны, это признание ответственности за идеи, содержащиеся в МФЯ и «Формальном методе», с другой стороны, явно недоброжелательное отношение к покойным друзьям и к «спорным текстам» в целом, все сильнее выражавшееся по мере укрепления отношений старого ученого с молодыми почитателями. Собеседники Бахтина 60—70-х гг. переживали этап переоценки ценностей и расставания с марксизмом, поэтому их волновала, прежде всего, марксистская проблематика, а Михаил Михайлович, безусловно, стимулировал их поиски и сам специально говорил об этом. Безусловно, в 60—70-е гг. Бахтин уже не мог относиться к марксизму так, как это проявляется в МФЯ и других работах (из чего не следует, что его отношение к этому учению все гда должно было быть одинаковым, см. главу четвертую). Однако в МФЯ и других работах волошиновского цикла его могло не удовлетворять и многое другое; см. в главе шестой об эволюции концепции языка в работах Бахтина 50-х гг. по сравнению с МФЯ.

<sup>217</sup> Переписка 2000: 129

<sup>218</sup> Иванов 1995: 136

<sup>219</sup> Иванов 1995: 136

<sup>220</sup> Бочаров 1993: 73

<sup>221</sup> Иванов 1995: 135

<sup>222</sup> Matijasevic 1980: 13

<sup>223</sup> Shepherd 2004: 20

В целом же можно сказать одно: противоречивые высказывания Бахтина (из которых самым достоверным следует считать самое первое в письме Кожинину) дают основания считать, что он участвовал в написании МФЯ и, возможно, других работ волошиновского цикла, но не позволяют установить границы авторства. Хотя среди его высказываний есть и такие, где говорится о его единоличном авторстве, нельзя на основе всей совокупности того, что мы знаем, говорить об этом как о чем-то твердо установленном.

Следующие аргументы, приводимые Н. Л. Васильевым, имеют скорее дополнительный характер. Второй аргумент – о мнении многих ленинградских ученых в пользу авторства Бахтина. Примеры таких мнений приводились выше. К нему примыкает и пятый аргумент о расспросах Бахтина на следствии по этому поводу. Если эти расспросы действительно имели место, то они были отражением тех же разговоров, безусловно, имевших место в Ленинграде с конца 20-х гг., с самого времени появления волошиновского цикла.

Показательно, что эти версии идут из среды людей, живших тогда в Ленинграде и в той или иной степени знакомых с Волошиновым (и Медведевым), но не знавших Бахтина, как Фрейденберг, или знавших его только как автора книги о Достоевском, как Виноградов. Можно предполагать, что слух (от кого он первоначально шел, неизвестно) поначалу, во-первых, был связан с оценками Волошинова и Медведева, а не Бахтина, во-вторых, тогда не связывался с марксистской проблематикой книги (такая связь стала актуальной много позже). Пожалуй, наиболее четко мнение, которое могло лежать в основе подобных разговоров, выразила много лет спустя Л. Я. Гинзбург: «Мы же знали этих людей. Не могли они так глубоко писать. Это же были примитивные люди».<sup>224</sup> Рассказ О. М. Фрейденберг, безусловно, при всей ее субъективности отражает такое же представление о Волошинове. Вспоминаю и свой разговор с В. Н. Ярцевой, хотя она не высказала какого-либо мнения об авторстве МФЯ и других работ: она передала устойчивое, видимо, мнение о Волошинове в Пединституте имени Герцена, согласно которому он (в отличие, скажем, от популярного Якубинского) ничего собой не представлял.

Все то, что мы теперь знаем о круге Бахтина и о Волошинове (здесь особо надо отметить разыскания Н. Л. Васильева и Д. А. Юнова), не подтверждает этих мнений. Надо также отметить и материалы о юношеских годах Волошинова, связанных с розенкрейцерством,<sup>225</sup> и публикацию того, что писала о нем А. И. Цветаева, высоко чтившая Волошинова даже после того, как тот увлекся «колдовским фолиантом» Маркса.<sup>226</sup> Даже такой сторонник авторства Бахтина, как В. В. Иванов, пишет: «Полагаю, что и вклад самого Волошинова в подготовку книги о философии языка мог быть немалым: он был образованным филологом».<sup>227</sup> Но видимо, Волошинову, поздно пришедшему в среду ленинградских филологов, не удалось там стать «своим», отношения его с большинством лингвистов и литературоведов не сложились. Родным для него был сначала круг розенкрейцеров, затем круг Бахтина, с которым он был связан много лет (если верить рассказам Бахтина Дувакину, то Волошинов из всего этого круга был связан с Бахтиным дольше всего, еще с Петрограда 1916 или 1917 г.); в отличие от самого Михаила Михайловича он сделал попытку выйти за пределы этого круга на более широкое пространство, но это у него (в отличие от Медведева и Пумпянского) до конца не получилось. Может быть, поэтому он и очень легко выпал в начале 30-х гг. из этой среды ленинградских филологов.

В любом случае, однако, все эти рассказы лишь свидетельствуют об общественном мнении в отношении Волошинова (и Медведева), но не о самом авторстве текстов.

<sup>224</sup> Баевский 1995: 11

<sup>225</sup> Немировский, Уколова 1995: 51—57

<sup>226</sup> Цветаева 1995

<sup>227</sup> Иванов 1995: 138

Сообщения жены Бахтина и первой жены Волошинова также могут иметь лишь дополнительный характер, хотя, разумеется, у бесхитростной Елены Александровны не могло быть желания мистифицировать своих собеседников. Вот ее уже приводившиеся слова о МФЯ: «Помнишь, Мишенька, как ты диктовал ее Валентину Николаевичу на даче в Финляндии?» Это, безусловно, важное свидетельство, подтверждающее, что Бахтин принимал участие в написании МФЯ. Из него, однако, не следует, что он диктовал всю книгу с начала и до конца, а сам факт диктовки не означает, что Волошинов выступал только в функции переписчика и не вносил чего-то в продиктованный текст. Как сказано во второй главе, «дача в Финляндии» – это лето 1928 г., когда, очевидно, уже существовали третья часть МФЯ и ряд разделов первой части (в том числе те, где речь идет о марксизме). Стало быть, диктовка могла относиться ко второй части, где как раз содержится «концепция языка и речевого произведения», и к некоторым разделам первой части; см. об этом.<sup>228</sup> В.В.Иванов передает также, что Елена Александровна вспоминала и о том, что ее муж был автором «Фрейдизма», текст которого она переписывала.<sup>229</sup> Все эти свидетельства опять-таки подтверждают и иногда уточняют участие Бахтина в написании волошиновского цикла, но не дают ответа на вопрос о границах его участия.

Следующий аргумент связан с «методологической и текстологической близостью» «спорных текстов» с текстами, подписанными Бахтиным. Методологическая близость не может быть решающим аргументом: иначе в любом случае надо было бы сочинения всей научной школы приписывать ее главе. Слова Бахтина Свительскому о «несамостоятельности» Волошинова как раз естественно связываются с тем, что Волошинов писал книгу сам, но на основе идей учителя.

Вопрос о текстологической близости серьезнее. Попытки такого анализа без применения точных методов делал Н. И. Николаев,<sup>230</sup> подход которого достаточно фрагментарен. Недавно И. В. Пешков предпринял попытку статистическими методами доказать принадлежность Бахтину «спорных текстов»;<sup>231</sup> перепечатано в последнем на сегодняшний день переиздании волошиновского цикла.<sup>232</sup> Эта попытка, однако, не убеждает. Исследователь даже не скрывает того, что результат ему известен заранее и остается лишь подобрать доказательства. Он берет «спорные тексты» и тексты, подписанные именем Бахтина, и демонстрирует высокий процент общих словосочетаний, например, таких, как в СССР и Бенедетто Кроче. По поводу подобных сочинений еще до публикации Пешкова Н. Перлина справедливо писала: «Каждый, желающий сыграть роль адвоката дьявола, может взять текст и доказать „авторство Бахтина“»<sup>233</sup> (например, может взять текст бесспорных статей Медведева). Статистические методы, которыми еще на моей памяти увлекались как «точными», сами по себе ничего не доказывают и не опровергают, если не разработан метод сопоставления индивидуальных стилей. Высокий процент совпадений в словосочетаниях может достигаться либо за счет общей тематики, либо за счет «внутрицеховых» привычек, либо за счет индивидуального стиля, но общепризнанных критериев разграничения пока что нет. Не говорю уже о необходимости отсеивать фразеологизмы и тем более сочетания с предлогами, совпадения которых вряд ли можно считать показательными. Так что я не думаю, что сейчас

<sup>228</sup> Васильев 1998: 534

<sup>229</sup> Иванов 1995: 136

<sup>230</sup> Николаев 1998

<sup>231</sup> Пешков 2000

<sup>232</sup> Бахтин 2000: 602—635

<sup>233</sup> Перлина 1995: 31—32

проблема текстологической близости или отдаленности «спорных текстов» с несомненно бахтинскими может быть строго решена. Здесь я согласен с Н. Л. Васильевым.<sup>234</sup>

Седьмой аргумент, связанный со статьей И. И. Канаева, как и указывает сам Н. Л. Васильев, может лишь «косвенно подкреплять версию о возможном участии Бахтина в написании работ Волошинова»; сам по себе он ничего не доказывает и не опровергает. Отмечу, что даже В. Л. Махлин, один из самых убежденных сторонников принадлежности всех текстов Бахтину, признает: «Современный витализм» – «единственный из „спорных текстов“, авторство которых принадлежит М. Бахтину неоспоримо».<sup>235</sup>

Вопрос об отсутствии у Бахтина ссылок на «спорные тексты» уже достаточно изучен, прежде всего, тем же Н. Л. Васильевым. Он перечисляет ссылки разных «спорных текстов» друг на друга.<sup>236</sup> Это, прежде всего, ссылки внутри волошиновского цикла на более ранние публикации, а также ссылки на «Формальный метод» в статье 1930 г. «О границах поэтики и лингвистики» и ссылки на «Слово в жизни и слово в поэзии» в «Формальном методе». Все это не выглядит удивительным: перекрестные ссылки между Волошиновым и Медведевым касаются рассмотрения сходной тематики. Например, в «О границах поэтики и лингвистики» имеется частный спор с «Формальным методом»: в последней работе влияние Женевской школы на В. В. Виноградова не считается определяющим, тогда как во всем волошиновском цикле точка зрения иная<sup>237</sup> (представляется, что точка зрения в «Формальном методе» более справедлива). Это же относится и к большинству ссылок Волошинова на самого себя. Упоминание «Фрейдизма» в МФЯ (238) также оказывается вполне естественным, поскольку здесь речь заходит о психологии.

Но это касается только взаимных ссылок внутри «спорных текстов». «Ни в одной из авторизованных работ Бахтин не упоминает имени Волошинова (как и Медведева) и не ссылается на его труды, что по меньшей мере странно, поскольку любой исследователь должен отражать предшествующие публикации по затронутой им теме, даже если они его собственные. Лишь в одном из мемуаров о Бахтине говорится о произвольном упоминании им книги „Фрейдизм“».<sup>238</sup> Речь идет о воспоминаниях многолетней сослуживицы Бахтина по Саранску В. Б. Естифеевой: в связи с вопросом о влиянии философов на творчество писателей «он (Бахтин. – В. А.) порекомендовал мне ряд книг. Среди них была работа В. Н. Волошинова о Фрейде».<sup>239</sup> Этот случай, однако, уникален лишь в том смысле, что Бахтин порекомендовал работу волошиновского цикла по своей инициативе. Кожинуву он также порекомендовал пользоваться книгами Волошинова и Медведева, но в ответ на обращение собеседника.

Само по себе отсутствие ссылок не всегда может быть показательным. Например, отсутствие ссылок на МФЯ в «Проблемах творчества Достоевского» или ссылок на эту книгу в последних по времени публикациях Волошинова может быть связано просто с различием тематики (в первом варианте книги о Достоевском в отличие от второго речь совсем не идет о лингвистике). Однако ссылок на МФЯ у Бахтина нет и там, где речь заходит о языке, например, в «Проблемах речевых жанров», работе неоконченной, но, безусловно, авторизованной. Но тут надо учесть еще один фактор, упомянутый Васильевым: «В воспоминаниях о Бахтине не отмечается и факт наличия в его домашней библиотеке трудов Волошинова и Медведева, приписываемых ему, что тоже выглядит странным, если они создавались при

<sup>234</sup> Васильев 2004: 252—253

<sup>235</sup> Махлин 2000: 590

<sup>236</sup> Васильев 2000: 34

<sup>237</sup> Бахтин 2000: 489

<sup>238</sup> Васильев 2000а: 34

<sup>239</sup> Естифеева 2000: 147

участии последнего (хотя мы должны принять во внимание драматические обстоятельства жизни Бахтина – многочисленные переезды, имущественные потери и т. п.); скорее наоборот – подчеркивается неожиданность появления указанных трудов в „поле зрения“ ученого». <sup>240</sup> В.Б.Естифеева вспоминает, что порекомендованную книгу «Фрейдизм» ей с трудом удалось достать у книголюба; стало быть, у Бахтина в Саранске ее не было. Конечно, нет данных о том, были ли у него там МФЯ и другие «спорные тексты» (а книга о Достоевском явно была, при ее подготовке к переизданию он не просил найти экземпляр), но так ли нужно было Бахтину сослаться на малоизвестную книгу, идеи которой он в ряде вопросов преодолел? Полемика вряд ли была необходимой уже по причине малой известности издания, которого у Бахтина, может быть, и не было под рукой. Там же, где идеи МФЯ у него получили продолжение, он, вполне вероятно, удерживал их в памяти. Все сказанное сохраняет силу при любом соотношении авторства.

В связи со всем этим Н. Л. Васильев затрагивает еще один вопрос. Он отмечает, что при полном отсутствии сохранившихся дарственных книжных надписей Бахтина Волошинову и Медведеву или их надписей Бахтину (что, разумеется, ни о чем не свидетельствует: книги могли не сохраниться) есть надпись Волошинова Медведеву. «В архивах бывшего КГБ сохранился экземпляр МФЯ, подаренный Медведеву со следующей надписью: „Павлу не только „дружески“, но и с любовью. Валентин 19 23/1 29“». <sup>241</sup> Слово «дружески» в кавычках – очевидно, цитата из не дошедшей до нас надписи Медведева Волошинову, скорее всего, на вышедшем незадолго до этого «Формальном методе». Эта надпись – довольно серьезный аргумент против версии о Волошинове как чисто фиктивном авторе. Перед Медведевым ему не надо было играть роль мнимо-реального автора (как и Медведеву перед Волошиновым), столь же невероятно, что они играли эти роли в расчете на то, что книги с надписями дойдут до потомков. Очевидно, что Волошинов действительно считал себя автором книги (это не исключает того, что туда могли войти идеи, шедшие от Бахтина).

Последний аргумент, разбираемый Н. Л. Васильевым, связан с отсутствием у Бахтина подписанных собственным именем «публикаций (и попыток к этому) в 1925–1928 гг.». Но значит ли это, что в те годы Бахтин не занимался ничем, кроме написания «спорных текстов»? В первом экскурсе уже говорилось о его «незавершенности как стиле работы» и о нелюбви к обиванию порогов в редакциях. Книга о Достоевском – достаточно большой текст (по объему превосходящий МФЯ и «Фрейдизм»), вышедший почти одновременно с МФЯ. Несомненно, у Бахтина в те годы были и другие тексты, не получившие завершения и не всегда дошедшие до нас. Плюс к этому лекции о литературе и философские беседы с друзьями. А волошиновский цикл охватывает не только 1925–1928 гг., но и два следующих года, когда у Бахтина вышли книга и две статьи. Опять-таки все это не свидетельствует ни за, ни против авторства Бахтина.

Вероятно, к аргументам в пользу авторства Бахтина, перечисленным Васильевым, могут быть добавлены другие. Остановлюсь лишь на одном, естественно приходящем в голову. Печатная активность Волошинова внезапно оборвалась в середине 1930 г. Дата очень близка ко времени отъезда Бахтина в Кустанай. После этого до самой смерти ни одного выступления в печати! Сам Н. Л. Васильев главной причиной «резкого снижения печатной активности» (не снижения, а полного прекращения!) считает «кампанию критики МФЯ». <sup>242</sup> Но ведь не одного его тогда ругали, а среди, например, языковедов, обруганных в погромном издании, <sup>243</sup> кажется, никто более не прекратил публиковаться совсем. К тому же основ-

<sup>240</sup> Васильев 2000а: 35

<sup>241</sup> Васильев 2000а: 34

<sup>242</sup> Васильев 2000а: 47

<sup>243</sup> Против 1932

ная печатная критика происходила в 1931–1932 гг., а прекращение публикаций произошло раньше, примерно за год до ее начала. В случае принятия гипотезы о «подставном авторстве» объяснение того, почему Волошинов замолчал, очень естественно: потеряв возможность использовать тексты, написанные Бахтиным, Волошинов не мог ничего написать сам (иная ситуация в случае Медведева, который активно печатался вплоть до ареста). Однако можно предположить и другое: круг Бахтина, лишившись центра, распался, а Волошинов, вытолкнутый из привычной среды, растерялся и не смог приспособиться к состоянию духовного одиночества.

Впрочем, прекращение публикаций еще не означает прекращения творческой деятельности; к тому же надо учитывать и болезнь, от которой Волошинов страдал в последние годы жизни. И после 1930 г. Волошинов читал курсы лекций, сначала в Институте имени Герцена, затем в ЛИПКРИ. Н. Л. Васильев, ссылаясь на Д. А. Юнова, занимающегося архивом Волошинова, пишет, что «Волошинов являлся автором ряда монографических работ, о которых ранее не было известно»;<sup>244</sup> вопрос, правда, в том, когда написаны эти работы. Безусловно, их публикация может совершенно по-новому поставить вопрос об авторстве Волошинова.

Следует указать и на еще одну гипотезу. Неоднородность текста МФЯ, особенно разрыв между третьей частью и предшествующими двумя, может рассматриваться как свидетельство их принадлежности двум авторам. Естественно при этом предположить, что первые две части МФЯ принадлежат Бахтину, а третья Волошинову, сейчас к этому склоняется и Н. Л. Васильев.<sup>245</sup> Об этом говорил А. А. Леонтьев в докладе на конференции по истории советской лингвистики в Институте языкознания РАН в январе 1995 г. Но опять-таки нет данных ни для подтверждения, ни для опровержения этой гипотезы. Материалы, приведенные во второй главе, показывают, что первоначально третья часть МФЯ готовилась как отдельная работа, но о том, писалась ли она отдельным автором, данных нет.

Итак, все сказанное приводит к двум выводам. Во-первых, есть серьезные основания считать МФЯ и, с гораздо меньшей уверенностью, другие публикации Волошинова написанными с участием Бахтина. В первую очередь это авторство касается теоретических идей книги. Во-вторых, нет достоверных данных в пользу того, что Волошинов не принимал участия в написании книги или изданных под его именем статей. Точное разграничение авторства двух авторов не может быть проведено на основе имеющихся данных. Безопаснее считать волошиновский цикл произведением двух авторов и говорить о его создателях во множественном числе, хотя в написании части статей, скорее всего, Бахтин непосредственного участия не принимал (однако и в этом случае Волошинов мог ориентироваться на идеи главы своего кружка).

Как замечает В. Л. Махлин по поводу «спорных текстов», у нас «авторство Бахтина чаще принимается на фактических основаниях и в силу его авторитета».<sup>246</sup> Фактические основания, однако, оказываются спорными, а авторитет – не есть основание, хотя, конечно, неявно он играет в атрибуции текстов значительную роль. За рубежом же сейчас все более преобладает точка зрения о Волошинове как равноправном авторе МФЯ. Примером может служить конференция «В отсутствие мастера: неизвестный круг Бахтина», организованная в октябре 1999 г. Бахтинским центром при университете Шеффилда (Великобритания). Как подчеркнуто во вступительной статье сборника, изданного по материалам конференции,<sup>247</sup> основной пафос конференции заключался в признании самостоятельной ценности за каждым из участников круга Бахтина, в том числе и за Волошиновым. Лишь один из выступавших на

<sup>244</sup> Васильев 2000а: 67

<sup>245</sup> Васильев 2004: 250

<sup>246</sup> Махлин 1995: 34

<sup>247</sup> Shepherd 2004

конференции решительно отстаивал тезис о единоличном авторстве Бахтина, и это как раз был один из представителей России; участники конференции из других стран единодушно считали иначе. Один из британских участников конференции пишет: «Современное состояние исследований „спорных текстов“ не может убедительно опровергнуть предположение о том, что „Формальный метод“ и „Марксизм и философия языка“ были написаны теми, чьи имена стоят на обложках их первых изданий».<sup>248</sup>

Все сказанное, однако, не означает принятия точки зрения, высказанной Н. К. Бонецкой, также сдержанно относящейся к идеям о единоличном авторстве Бахтина: «Пока в этих трудах („спорных текстах“. – В. А.) с достоверностью не обозначен собственный „бахтинский“ элемент, привлекать их к разговору о творчестве Бахтина мы не считаем научно корректным».<sup>249</sup> Спорными представляются и попытки отделить Бахтина от Волошинова, предпринимаемые, например, в интересной статье;<sup>250</sup> см. также.<sup>251</sup> Здесь предлагается, например, считать, что Бахтин (в частности, в «Слове в романе») был ближе к неокантианству, а Волошинов последовательно исходил из идей противников этого направления, в том числе К. Бюлера (см. об этом пятую главу). Однако имеющиеся различия могут трактоваться и как изменение позиции самого Бахтина со временем.

Все, что исходило из круга Бахтина, имело отношение к его творчеству. Круг Бахтина в 20-е гг. коллективно выработывал общие концепции, сам Михаил Михайлович был лишь «первым среди равных». По существу именно это он и подтвердил в письме Кожинуву. Поэтому, например, лингвистическая концепция несомненных работ Бахтина, включая «Проблемы речевых жанров» или фрагмент о металингвистике в «Проблемах поэтики Достоевского», должна рассматриваться с учетом концепции МФЯ, развитием которой она являлась.

## 2. Возможная гипотеза о разграничении авторства

Все дальнейшее в данном экскурсе следует рассматривать лишь как умозрительную гипотезу о возможном распределении ролей между авторами МФЯ (о других работах волошиновского цикла речь специально идти не будет). Фактическими подтверждениями или опровержениями ее я не располагаю

Еще раз напомню о словах Михаила Михайловича из письма Кожинуву: «В период создания этих книг (МФЯ и „Формального метода“. – В. А.) мы работали в самом тесном творческом контакте. Более того, в основу этих книг и моей работы о Достоевском положена общая концепция языка и речевого произведения». Эти слова И. В. Пешков, на мой взгляд, безосновательно, старается интерпретировать как доказательство единого авторства: «Не очень понятно, как концепция книги может существовать отдельно от самой книги».<sup>252</sup> Примеров такой «отдельности» сколько угодно. Достаточно указать на распространенный речевой жанр кандидатской диссертации, где (разумеется, не всегда, но часто) концепция принадлежит руководителю, а текст – диссертанту.

Коллективная разработка тех или иных идей и проблем и их публикация под одним именем или именами части разработчиков – ситуация, распространенная в науке. Приведу лишь два примера из наиболее знакомой мне области лингвистики.

<sup>248</sup> Tihanov 2004: 44—45

<sup>249</sup> Бонецкая 1996: 8

<sup>250</sup> Brandist 2002

<sup>251</sup> Brandist 2004: 120

<sup>252</sup> Пешков 1998: 547

Главный оппонент МФЯ в этой науке – Фердинанд де Соссюр, у которого рассматривается лишь главный теоретический труд – «Курс общей лингвистики». А вопрос об авторстве этого труда (в отличие от других, игнорируемых в МФЯ работ Соссюра) не менее сложен, чем вопрос об авторстве МФЯ, и также породил обширную литературу. А. А. Холодович (когда-то один из знакомых Волошинова) писал уже в 70-е гг.: «Не боясь вступить в конфликт с истиной, мы могли бы констатировать, что эта книга вышла спустя пять лет после смерти Ф. де Соссюра, но мы не решились бы утверждать, что она вышла спустя пять лет после смерти ее автора».<sup>253</sup> В высказывании есть неточность: книга вышла на самом деле через три года после смерти Соссюра.

Соссюр умер в 1913 г., ни разу не высказав в печати свои теоретические идеи. Он лишь излагал их в лекциях перед студентами. Кое-что здесь имело параллели с черновыми набросками Соссюра, сохранившимися в его архиве, но многое имело характер импровизаций у доски. После его смерти два его младших коллеги по Женевскому университету, также упоминаемые в МФЯ, Шарль Балли и Альбер Сеше решили издать его курс по студенческим конспектам (черновики не привлекались и стали известны позже). Как сейчас выясняется, идея издания принадлежит Балли, а основную работу по подготовке текста провел Сеше. «Курс» вышел в 1916 г. и сразу стал знаменит. Хотя сейчас наследие Соссюра, включая все дошедшие до нас черновики и наброски, хорошо изучено (многое из этого имеется и в русском переводе<sup>254</sup>), но вся мировая известность этого ученого все-таки связана с «Курсом»; ср. соответствующие реальности слова Бахтина в беседе с Дувакиным: «Те произведения (Сос-сюра. – В. А.), которые были напечатаны при жизни, не имели большого влияния».<sup>255</sup> Однако впоследствии выяснилось, что фрагменты прочитанных в разное время трех курсов совсем по-иному скомпонованы, многое изменено, а кое-что и написано заново. Обзор этих изменений см..<sup>256</sup> Таким образом, авторов у «Курса» по существу три (собственно соссюровская часть выделяется с трудом, а разграничить, что внес Балли и что внес Сеше, нельзя). Даже после выявления того, что было и чего не было в студенческих конспектах, остается немало загадок. Например, принято считать, что знаменитая фраза, которой заканчивается «Курс»: «Единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в себе и для себя»,<sup>257</sup> «всцело на совести издателей», поскольку ни в одном студенческом конспекте этой фразы нет.<sup>258</sup> Но эта фраза гораздо больше соответствует исследовательской программе самого Соссюра, чем программе Балли и особенно Сеше. Две основные книги последнего, только сейчас вышедшие в русском переводе,<sup>259</sup> от-нюдь не посвящены «языку в себе и для себя». Почему не предположить, что Соссюр говорил что-то подобное в разговоре с Балли или Сеше? Данных нет.

<sup>253</sup> Холодович 1977а: 9

<sup>254</sup> Соссюр 1977; 1990

<sup>255</sup> Беседы 1996: 60

<sup>256</sup> Холодович 1977а: 17—21

<sup>257</sup> Соссюр 1977: 269

<sup>258</sup> Холодович 1977а: 18

<sup>259</sup> Сеше 2003а; б

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.